

ГЛАСНОСТЬ В ДВУХ КУЛЬТУРАХ

ГОВОРЯТ УЧАСТНИЦЫ
ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ
ПИСАТЕЛЬНИЦ
РОССИИ И АМЕРИКИ
В НЬЮ-ЙОРКЕ





«ГЛАСНОСТЬ В ДВУХ КУЛЬТУРАХ»

**Говорят участницы
первой встречи писательниц
России и Америки**

**Москва
Фонд Юрия Щекочихина
2023**

ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Г52

«Гласность в двух культурах». Говорят участницы первой встречи писательниц России и Америки. — М., 2023. — 132 с.

В книге представлены эссе и интервью участниц первой встречи российских и американских писательниц и исследовательниц литературы в Университете Нью-Йорка в 1991 году. Конференция «Гласность в двух культурах» дала мощный интеллектуальный и творческий импульс многим последующим совместным проектам и публикациям. Диалог женщин двух стран внёс серьёзный вклад в развитие исследований современной культуры, а также стал важным шагом народной дипломатии. Сборник адресован как представителям академического сообщества, так и самой широкой аудитории.

Редактор *Наталья Захаровская*
Корректор *Наталья Захаровская*

ISBN 978-5-94101-413-2

© Наталья Иванова, Кэрол Юланд, Надежда Ажгихина, 2023
© Фонд имени Юрия Щекочихина, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

«ГЛАСНОСТЬ В ДВУХ КУЛЬТУРАХ»	5
<i>Наталья Иванова, Кэрол Юланд, Надежда Ажгихина</i>	
МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ	6
<i>Американки и американцы, слависты Наталья Иванова</i>	
«СЛАВИСТЫ ВСЕГДА БЫЛИ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ»	15
<i>Беседа с Кэрол Юланд, почётным профессором университета Дрю</i>	
ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ	31
<i>Надежда Ажгихина</i>	
«ВСТРЕЧА СТАЛА УРОКОМ ФЕМИНИСТСКОЙ ПЕДАГОГИКИ»	44
<i>Беседа с Нэнси Конди, профессором Питтсбургского университета, директором Питтсбургского центра исследований России, Восточной Европы и Евразии</i>	
ДЕСЯТЬ РАССЕРЖЕННЫХ ЖЕНЩИН	54
<i>Светлана Василенко</i>	
«АМЕРИКАНСКАЯ ПРОПАГАНДА ВО МНОГОМ ПОХОДИЛА НА СОВЕТСКУЮ»	61
<i>Беседа с Еленой Гошило, профессором Университета Охайо</i>	
КТО ПИШЕТ КНИЖКИ, ТОТ МОЕТ ПОСУДУ	80
<i>Марина Тёмкина</i>	

ПАМЯТИ МАРИНЫ ЛЕДКОВСКОЙ	94
<i>Елена Трофимова</i>	
«ХОТЕЛА ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ НЕ БЫЛО»	102
Беседа с Эллен Чансез, профессором Принстонского университета	
«У НАС ДОМА ГОВОРИЛИ ПО-РУССКИ»	117
Беседа с Линн Виссон, переводчицей, автором книг о России и русской культуре	

«ГЛАСНОСТЬ В ДВУХ КУЛЬТУРАХ»

Весной 1991 года в Нью-Йорке состоялась первая конференция писательниц СССР и Северной Америки «Гласность в двух культурах». Эта встреча, в которой приняли участие прозаики, поэты, литературные критики, исследователи, стала знаком эпохи открытости и «нового мышления», открыла новые возможности для развития творческого и академического сотрудничества. Результатом стали десятки совместных исследовательских проектов, сборники переводов и научных работ, множество симпозиумов и новых университетских курсов.

Предлагаем вашему вниманию заметки участниц конференции и первых творческих и научных встреч женщин двух стран. Большинство интервью и текстов подготовлены в 2018–2020 годах.

*Наталья Иванова,
Кэрол Юланд,
Надежда Ажгихина*

МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ

Американки и американцы, слависты

Московская школа, где я училась в ранних 60-х, располагалась на углу тогдашней улицы Чайковского и Девятинского переуллка, а жили мы в высотном доме на площади Восстания, теперь Кудринской. Жильё в этом доме предназначалось для так называемой номенклатуры: мой отец, работавший в газете «Комсомольская правда» вместе с Алексеем Аджубеем, получил квартиру по личному распоряжению Хрущёва. (До того наша семья ютилась в комнатухе коммунальной квартиры).

Каждое утро я шла в школу мимо здания посольства США. Школа — совсем обычная, без всяких углублённых языковых обучений, но английским я овладела неплохо. Родители мои были журналистами, и отец вошёл в пул, который сопровождал во время поездок в США Никиту Хрущёва.

Отец вернулся из Америки с двумя толстенными каталогами художественных собраний музеев «Метрополитен» и «Модерн Арт» и сувениром из штата Айова — кукурузным початком, так вдохновившим Хрущёва. Ну и, естественно, с впечатлениями о поездке. (Замечу, что я видела отца столь воодушевлённым лишь в два периода его жизни — тогда, в начале оттепели, и в раннюю перестройку.) Он рассказывал об увиденном с большой симпатией — к городам, особенно Нью-Йорку, и людям. Ещё сообщил

под страшным секретом — не мог удержаться — о своей двоюродной сестре Ирине из оставшейся в эмиграции части семьи, жене аргентинского дипломата, — с сестрой они встретились на приёме в ООН.

По рассказам отца и немного по его очеркам, напечатанным в «Комсомолке», я начала лучше представлять реальную Америку. Впрочем, замечу, что даже школьники злобным карикатурам на американский стиль поведения в массовом журнале «Крокодил» не верили.

Сами шестидесятые, эпоха оттепели, так или иначе, но открывали нам мир. Железный занавес стал проницаемым: для нас, старшеклассников, — во многом через джаз, моду и язык. Отец привёз жвачку — эту невидаль я раздарила всем в классе. Привез туфельки из нью-йоркского универмага «Мейсиз» — я их надела. Привёз джазовые пластинки — мы их слушали. Я удостоилась карикатуры в школьной стенгазете: в помещении школьного сортира учу танцевать рок-н-ролл — несмотря на то что я была круглой отличницей, изобразили меня очень зло. А когда я появилась в школе в красных туфельках, была тут же вызвана к директрисе, сделавшей строгий выговор — так, мол, обуваются только проститутки в Париже.

И когда я поступала на филологический факультет Московского университета, осознанно выбрала романо-германское отделение с английским языком. Правда, позже, уже на втором курсе, соблазнилась предложением замечательного преподавателя перейти на русское отделение в его знаменитый на факультете семинар. Перешла — но английский язык, англоязычную литературу и английский театр (возникло у нас на факультете и такое оттепельное чудо) не оставила.

Поэтому, когда поступила в аспирантуру, на кафедре предложили тему, охватывающую сразу русскую классику и англоязычное литературоведение: «Достоевский в ин-

терпретации современной критики США». Хотя это всё происходило уже на самом излёте оттепели, мне уверенно пообещали стажировку в одном из американских университетов, чтобы я имела возможность реального контакта с американской достооевистикой. У нас ведь и книг не было, и я думала, что смогу посещать и семинары, и лекции, и работать с книгами в библиотеке. Но эти планы не осуществились — отношения с США в очередной раз сильно напруглись, воссоздавался новый занавес и, разумеется, никакого обмена не состоялось.

Но тема-то была утверждена! Что делать? Брать письмо от деканата в так называемый спецхран Ленинской библиотеки, где я провела дни, часы и месяцы, шариковой ручкой конспектируя книги. Но действовать приходилось наугад — никакого каталога по теме не предоставлялось. Вообще смотреть каталожные карточки не разрешалось, всё было заперто на замок. Заполняла листочки-требования с названиями книг почти наугад. А потом поиск шёл так: от книги к другим книгам, через библиографию и сноски.

Но тут к нам на кафедру истории классической русской литературы приезжает с визитом из Чикаго профессор Северо-Западного университета Ирвин Вайль. Славист. Прекрасно говорит по-русски, пишет книги, читает курсы! И для знакомства с ним меня приглашают на неформальную, но кафедральную (всё под контролем!) встречу в музее-усадьбе «Архангельское».

Я еду в Архангельское, сопровождая американского профессора и заведующего кафедрой Василия Ивановича Кулешова. На дворе конец мая, ну, может, июнь, погода великолепная, солнце сияет. Профессор Вайль одет, точно американец из «Крокодила» — в клетчатом пиджаке с бабочкой. Ещё у него была с собой гитара — слушали в его исполнении песни в стиле кантри.

А спустя месяц на кафедру пришла посылка с книгами — американские литературоведы о Достоевском. Это было замечательно — я держала в руках книги Роберта Белнапа, Роберта Джексона, Джорджа Гибиана, Тамары Василек и ещё с десятков других авторов. До сих пор, несмотря на переезды, некоторые издания живут в моей домашней библиотеке.

Благодаря этому подарку, я написала большую главу для своей диссертации, где оценка работ американских коллег была весьма высокой. Пока здесь, в СССР, с огромным трудом вернули в научный оборот книги М.М. Бахтина, за океаном много и серьёзно занимались полузапрещённым у нас в 1930–1950-е Достоевским. Только после XX съезда КПСС вышел первый после четвертьвекового перерыва десятитомник. О «Дневнике писателя» там и звука не было, но я купила его сама — три изданные году в 1925-м тетради в мягкой бумажной обложке. Сейчас точно не вспомню где — кажется, в букинистическом на углу улицы Горького, рядом с кафе «Националь».

Глава из моей диссертации была напечатана в филологическом сборнике МГУ — типа «Статьи о зарубежных филологах», точно название не воспроизведу. В ответ последовала гневная отповедь неведомого мне В. Бугрова в журнале «Вопросы литературы» — и меня разом отвратило, как отрезало от этой опасной темы. Поняла, что защитить по ней диссертацию, не замазавшись в идеологии, не смогу — мне просто не дадут.

Так я окончила аспирантуру, не защитившись. Переменила участь — поступила на работу сначала в издательство, потом в литературный журнал, чтобы заняться совсем другой литературой — современной. Постепенно в неё вросла, стала редактором, а потом и критиком — времена менялись, захотелось писать и даже печататься.

Сделала себе имя статьями и литературными фельетонами, а с наступлением перестройки стала востребована как критик в самых главных изданиях того времени — журнале «Огонёк» и газете «Московские новости». Мои публикации, вызывавшие весьма бурную реакцию читателей, были замечены и за рубежом, меня переводили, печатали интервью, я много выступала на круглых столах и в дискуссиях, в том числе телевизионных.

И вот в один прекрасный день Лев Аннинский зовёт меня в свой крошечный кабинет — с 1986-го по 1991-й мы вместе работали в журнале «Дружба народов». А там у него — две славистки; знакомлюсь — Катя Непомнящая и Эллен Чансез. Моего поколения, весёлые, заводные. Мы начинаем говорить, потом перемещаемся пить кофе в ЦДЛ, обсуждаем, что новенького в прозе, и не можем остановиться — доверие и взаимопонимание возникли сразу. Меня начали приглашать на конференции, и одной из самых важных, не только для меня, стала конференция американских слависток и русских писательниц «Гласность в двух культурах», организованная весной 1991 года в Нью-Йоркском университете и посвящённая творчеству женщин-писательниц.

Из Москвы прилетели Татьяна Толстая, Виктория Нарбикова, Олеся Николаева, Светлана Василенко, Зоя Богуславская, Лариса Ванеева... Авторы первого «женского» сборника «Не помнящая зла», а потом и «Новых амазонок» вызвали в критике скандал и — оживлённое внимание к формату «женской прозы».

Билетов до Нью-Йорка всем не хватило — мне и ещё троим пришлось лететь в Вашингтон, а уж оттуда, дорогие, добирайтесь до Нью-Йорка как хотите. Добрались благодаря одному ловкому пассажиру из Одессы, который предложил: возьмём автомобиль напрокат, оплата поровну. Мы согласились. Прекрасный одессит был находчив,

но не знал английского, поэтому на протяжении всего немалого пути я выполняла обязанности штурмана — читала дорожные знаки и вывески и выстраивала маршрут. Фантастика, но мы таки добрались до Нью-Йорка!

Конференция в круглом большом зале Нью-Йоркского университета, проходившая с синхронным переводом, длилась два с лишним дня и оказалась очень насыщенной. Выступления чередовались: с нашей стороны, с американской, славистки, критики, поэтессы, прозаики. Я сделала большой доклад о прозе Людмилы Петрушевской. Были и круглые столы, дискуссии. Многого мы ещё не понимали — да, у нас с перестройкой появилось много новых писательниц, но феминистская повестка была большинству из нас не то что чужда — просто абсолютно незнакома. Помню, американская поэтесса прямо с кафедры заявила о своей сексуальной ориентации, и Олеся Николаева тотчас отскочила от неё на несколько стульев — такая была реакция. Может быть, и сегодня Олеся испытала бы в подобной ситуации то же самое, но внешне бы не дрогнула.

Тогда на пике славы была Нарбикова, Толстая догоняла. О той и о другой говорили славистки, не сопоставляя, анализировали. Суть текстов при этом оказывалась на втором плане, а на первом — женский вопрос, женская (даже) поэтика. Мне это казалось далёким: я искала смыслы в текстах, а не в гендере, творчески угнетённой коллегами-мужчинами себя тогда не чувствовала (ревность и стремление «попридержать» ощутила с их стороны позже) и делила прозу исключительно на талантливую и не очень. Никакой индальгенции в творчестве женская фамилия автора («авторки»), на мой взгляд, не давала — скорее, напротив. Впрочем, о мужском давлении и даже насилии я знала на примере поэтесс XIX века Каролины Павловой и Евдокии Ростопчиной и о них тоже упомянула в одном из

своих выступлений на круглом столе или комментариев, сейчас не припомню точно.

С того времени началась неослабевающая приязнь, а в отдельных случаях и дружба с американскими «коллежанками» Кэрол Уланд, Еленой Гоцило, Нэнси Конди, уже упомянутыми Катей Непомнящей и Эллен Чансез. У нас оказалось много общего в литературных и кинематографических вкусах, мы выбирали одних и тех же героев-авторов, разделяли предпочтения друг друга, любили бегать по музеям и выставкам и гулять по городу, сначала по Нью-Йорку, а потом по Москве и окрестностям. Завязались прочные литературно-творческие отношения — прежде всего участие в коллективных сборниках. Когда же американские подруги со своими студентами или сами по себе выбирались в Москву, мы старались побольше времени проводить вместе и без конца делились мыслями, соображениями, новостями.

Каждый свой приезд в Нью-Йорк я бывала у Кати Непомнящей — царствие ей небесное. Её квартиры, сначала маленькая, а потом и большая, в прямом смысле слова ломались от русских книг. А когда Катя заболела, книги загромождали кровать.

Катя с мужем Славой, вывезенным с большим трудом из СССР (приёмную дочь Ольгу они тоже сумели вывезти; и даже таксу забрали с собой), приехали в Москву на Конгресс соотечественников как раз к 19 августа 1991 года, к путчу. Я встретила её утром того дня в редакции журнала «Вопросы литературы», где была намечена конференция, которая сразу переросла в маленький митинг. А потом все три дня Катя со Славой ходили вместе с москвичами к Белому дому. Слава снял видео: потом, когда я оказалась в Нью-Йорке, мы это видео ностальгически пересматривали. Всё же редко так бывает — вместе с аме-

риканкой Катей я пережила одни из самых драматических дней в жизни своего отечества.

Рабочие замыслы и планы — наши и американских славистов — нередко творчески пересекались: к примеру, Эллен Чансез писала книгу об Андрее Битове (первая в мире), я — статьи и эссе о нём. Многие из моих текстов с тех пор регулярно переводились на английский и печатались в журнале *Russian Studies* — из этих переводов можно составить большую, толстую книгу. Многие проблемы современного состояния литературы изучались параллельно исследователями из США и нами. Например, Лев Лосев, в эмиграции защитивший диссертацию и ставший славистом (впрочем, славистом пришлось работать и его другу Иосифу Бродскому — а что было делать?), выпустил монографию, посвящённую возникшему в условиях советской цензуры эзопову языку, а я в том же 1990 году написала книгу «Смех против страха, или Фазиль Искандер». И таких совпадений хватает, что и неудивительно — предмет-то у нас был один.

Эллен поспособствовала моему приезду в Принстон в качестве приглашённого профессора, и мы постоянно говорили о Достоевском, Битове и современном русском кино. Катя переводила прозу Андрея Синявского и написала о нём вполне академическую книгу — с Андреем Донатовичем мы обе дружили и бывали у него и Марьи Васильевны в Фонтене-о-Роз под Парижем. Кстати, со встречи с ними и русскими литераторами-эмигрантами (от Аксёнова до Гладиллина, от Ефима Эткинда до Копелева, с Раисой Орловой и другими) в музее современного искусства «Луизиана» под Копенгагеном в марте 1988 года и начались мои реальные личные контакты не только с русской эмиграцией, но и с мировыми славистами.

Встречи и конференции, сборники и статьи, лекции в Институте Гарримана, незабываемый месяц в Принстон-

ском университете по приглашению Элен Чансез, несколько летних поездок с участием в конференциях в Вермонт, где при двух университетах работала Русская школа; организованные социологом Дмитрием Шалиным симпозиумы с участием писателей и выставками художников-эмигрантов в университетском Центре демократии в Лас-Вегасе — такие дружеские и профессиональные контакты продолжались почти три десятка лет. Невозможно и не хочется верить в разрыв столь прочных и доверительных отношений. Очень надеюсь на их возобновление. И на то, что железный занавес (Iron Curtain — так назывался документальный фильм, в котором я говорила о переменах прямо на Красной площади) вновь уйдёт в прошлое, ведь несколько волн запретов и официального отчуждения между русскими и американцами мы уже пережили. Хочется закончить парадоксальным афоризмом Виктора Черномырдина: «Никогда такого не было, и вот опять!»

«СЛАВИСТЫ ВСЕГДА БЫЛИ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ»

Беседа с Кэрол Юланд, почётным профессором университета Дрю

— Какова была твоя первая поездка в СССР? Что более всего запомнилось?

— Это случилось довольно неожиданно. Летом 1985 года я предполагала поехать на трёхмесячную языковую практику в Москву. Но нас отправили в Санкт-Петербург, Ленинград, и не на филфак, а на факультет психологии, кафедру русского языка как иностранного.

В нашей группе из 30 американских исследователей были и студенты, как я, и уже опытные преподаватели. Поскольку факультетское общежитие для иностранцев полгода назад сгорело, нас поместили в довольно странном месте — гостинице «Морской вокзал», и это было как жить в кино. В пять часов начинал играть оркестр. На первом этаже располагалась таможня, куда постоянно приходили морские офицеры, направлявшиеся в разные военно-морские академии и другие организации. Мы вообще жили в окружении военных — среди тех, кто встречался на подступах к гостинице, форму носили трое из пяти.

Лето 1985-го было очень странным временем. О том, что Горбачёв, пришедший к власти весной и уже однажды посетивший Ленинград, намеревается изменить в экономике и политике, помню, вкратце поведал нам один партийный аппаратчик. Он начал свой спич официально: «Ува-

жаемые товарищи!» Мы переглянулись — мы не были «товарищами». Ничего особо интересного этот человек не рассказал — речь его была довольно формальной.

Горбачёв тогда начал так называемую антиалкогольную кампанию, и это вызвало настоящий хаос. Магазины продавали алкоголь только в рабочие (!) часы, так что женщины, которые сидели дома, покупали его днём, а по ночам продавали по завышенной цене. Таков был немедленный ответ на проблему. К концу лета стало ясно, что эти меры не будут работать ни в Ленинграде, ни в каком-либо другом месте.

Наши занятия продолжались с полдевятого утра до двух пополудни, потом мы отправлялись на экскурсии обычно в сопровождении нескольких, одних и тех же, людей — мы поняли, что это их работа. Потом у нас появились свои знакомые и друзья.

Тут мне повезло. Я решила работать над переводами поэзии Александра Кушнера, а так как прежде уже переводила немного Бродского, то через Томаса Венцлову получила контакты Александра Семёновича и смогла встретиться с ним и его женой Еленой Невзглядовой. Кроме того, познакомилась и подружилась с Константином Азадовским и его женой Светланой. У нас, славистов, было принято делиться с коллегами своими знакомствами и контактами.

— Как возник твой интерес к России, к русской культуре?

— Это произошло ещё в старших классах школы. В 1960-х в Америке очень редко преподавали русский язык, но в моей школе работал учитель немецкого языка, чех по национальности, побывавший в плену в СССР во время войны. Он вернулся в Германию, потом уехал в США. Именно он убедил администрацию школы в целесообраз-

ности изучения русского языка. Нам его преподавали в течение двух лет — маловато, конечно. Поэтому, когда пришла в колледж, моё произношение было столь ужасным, что русские студенты, потомки первой волны эмиграции, спрашивали: «Ты говоришь на русском или на чешском?» Но это не охладило моего интереса к русской культуре. Конечно, я много читала — прочла, наверное, всё, что можно было найти в переводе с русского на английский.

— Что в основном?

— XIX век. В старших классах школы изучали только Толстого, Тургенева, Достоевского, Чехова. После Чехова мы не знали ничего, и прошло довольно много времени до того, как другие тексты стали доступны. Поступив в колледж, я познакомилась с профессорами русской литературы — представителями первой волны миграции, людьми высочайшего интеллекта, великолепно образованными, носителями и наследниками высокой культуры. В частности, дедушкой заведующего кафедрой Владимира Шайковича был Иван Шишкин. Другой профессор — Иван Балувев, после эмиграции проведший много лет в Бельгийском Конго, — являлся племянником Николая Арсеньева.

Поскольку наши профессора были православными верующими, мы очень хорошо знали православную культуру и философию. Владимир Шайкович познакомил нас со «Смыслом любви» Соловьёва и требовал читать книгу в оригинале, что на третьем курсе изучения русского было почти невозможно: я думала, что просто умру.

Впоследствии, при поступлении в аспирантуру Колумбийского университета, экзаменатор по переводу Роберт Макгуайер не уставал удивляться: «Как же так? Ты не в силах перевести фразу «мальчик бросил мяч», но знаешь такие слова, как “миросозерцание”, “мировоззрение”!» Тогда я и рассказала, как с нами занимались в колледже.

Повторюсь, вплоть до аспирантуры я не имела никакого представления о великой русской литературе XX века. Профессор Шайкович вообще запрещал нам читать что бы то ни было, опубликованное после 1917 года.

— А «Доктор Живаго»?

— Вот это стало исключением! Роман я прочла в колледже и даже писала о нём работу. Университет Мичигана в 1958-м опубликовал книгу в Америке с разрешения первого западного издателя Фельтринелли.

Три десятилетия спустя заместитель главного редактора «Нового мира» Вадим Борисов подарил мне первое в СССР полное издание «Доктора Живаго» — до этого в «Новом мире» вышли фрагменты романа.

Потом в Колумбийском университете я училась у Нины Берберовой, читавшей замечательный курс о Ремизове и других писателях русской эмиграции. Она стала первой, кто начал преподавать эту литературу.

— Какой была Берберова?

— Потрясающей! Яркая необычная женщина, всегда стильно одетая и красиво причёсанная, с хорошим макияжем, и великолепный преподаватель! Она была очень требовательна к точности интерпретации и перевода поэтических текстов и добивалась того же от нас; учила декламировать, верно ставить ударения и соблюдать в нужных местах паузы.

Мы тогда ничего не знали о её жизни и литературном творчестве, обнаружили, что она сама писательница, лишь несколько лет спустя, когда вышла на английском автобиография Берберовой «Курсив мой». Она же, даже рассказывая на лекциях о Ходасевиче, говорила отстранённо, соблюдая дистанцию.

Однажды мы с ней застряли в лифте — в пятницу вечером. Уточняя, потому что случись это, например, в понедельник, нас бы, несомненно, очень скоро освободили. В этой затруднительной ситуации Берберова нисколько не потеряла самообладания... К счастью, нам повезло, в заточении мы провели всего пятнадцать минут, однако я успела понять: Берберова была «железной женщиной», как её героиня баронесса Брудберг. Впоследствии курс русской эмигрантской литературы стал постоянным, его вела Марина Ледковская.

— Помнишь, кто были участники первых советско-американских обменов?

— Для студентов, когда я училась, участие в обменах было совершенно невозможным. Что касается первых профессорских обменов, они начались, если не ошибаюсь, в конце 1950-х: Дрю, моя старшая коллега по университету, побывала в СССР в 1960 году — тогда умер Пастернак.

Формировались очень небольшие группы — по семь-восемь человек. Это был крайне медленный и жёстко контролируемый процесс. Потом, в 1960-х, обменами начал заниматься «АЙРЕКС» и они стали активнее, а в группы уже включали аспирантов.

Приехавших в СССР по обмену американцев очень строго контролировали. Каждый из нас имел русского наставника и встречался с ним каждую неделю. Жили мы в общежитии, и нам не разрешали посещать дома русских, что, конечно, нарушалось, но было непросто и приходилось соблюдать все меры предосторожности.

Надо сказать, у нас в Колумбийском университете работали прекрасные учёные, такие как Белнап, и это старшее поколение славистов, которое уже почти ушло, было практически лишено возможности установить общение с

коллегами в Советском Союзе, даже с теми, кто занимался Достоевским, Толстым, словом, классической русской литературой. На многие годы такое научное общение оказалось заторможено, обмена материалами, по сути, не происходило. Участвовать в конференциях, которые проводились в СССР, и обмениваться материалами с советскими коллегами было очень трудно даже в 1960–1970-е. Ни электронной почты, ни интернета, ни мессенджеров не существовало. Что же касается обычной почты, то письма часто терялись, и, вне всякого сомнения, их просматривали цензоры.

Проблема существовала даже внутри СССР. Помню, в 1980-х Борисов из «Нового мира», узнав, что мы едем в Ленинград, попросил меня прихватить с собой из Москвы гранки статьи. Пересылка почтой заняла бы слишком много времени. Ну просто XIX век!

— В первые перестроечные годы наметился сдвиг к лучшему, к большей открытости?

— В 1980-х состоялось несколько конференций по инициативе разных организаций, европейских и американских: кафедр славистики и общественных наук, Ассоциации современных языков, ПЕН-клубов и других. В то время академический мир был не слишком хорошо координирован, не существовало единого центра.

В США первая, наверное, конференция по современной русской литературе, куда смогли приехать не те авторы, которых официально направлял Союз писателей СССР, а те, кого хотели увидеть американцы, состоялась в Бостоне. Её инициировал Американский ПЕН-клуб. Потом прошли встречи в Вашингтоне и Нью-Йорке. Впервые в США приехали Александр Кушнер, Юнна Мориц, Даниил Гранин, Фазиль Искандер — никто из них прежде не был в Америке, хотя, возможно, выезжал в Европу. В результате

у нас появилось несколько серий переводов. Именно переводы на английский современных русских авторов, ранее не публиковавшихся в Америке, стали одним из главных итогов этих встреч.

Гласность становилась всё более очевидной, всё больше американских учёных получали возможность поехать в СССР, принимать участие в конференциях, интерес рос. Кроме того, в начале 1990-х, и особенно после провала путча 1991 года, для американцев открылись российские библиотеки.

Неожиданно оказалось доступным совершенно легально встречаться с людьми у них дома. Мы даже жили у наших друзей в Москве, потом в Петербурге — стала создаваться живая, неформальная, дружеская сеть коллег тут и там. Потом начали развиваться технологии, и мы продолжали с их помощью регулярно обмениваться своими работами, статьями. Совсем недавно об этом нельзя было даже мечтать! И, конечно, мы все возвращались домой с чемоданами свежих выпусков русских журналов и новых книг.

— Одним из первых стипендиатов Американской академии стал известный литературный и кинокритик Лев Александрович Аннинский?

— В те годы многое делалось благодаря индивидуальной инициативе людей и университетов. Совет по социальным наукам, большая организация, которая сыграла потом одну из ведущих ролей в создании рабочей группы по изучению советского и постсоветского кино, ТВ и СМИ, предложил провести летнюю школу для американских исследователей. Первую, в 1986-м, организовали в Йелле занимавшие высокие академические позиции Морис Фридберг и Вера Данем. Руководили семинарами и дискуссиями Нэнси Конди и Володя Падунов, Майкл Холквест

и Катерина Кларк. Все они стали впоследствии лидерами российско-американских проектов по изучению современной культуры России.

Три недели 20–25 учёных — в их числе и я — углублённо изучали советское кино, смотрели по три фильма ежедневно. Но не только это. Мы много читали, представляли и обсуждали свои и коллег статьи о русской культуре. Это стало колоссальным прорывом — открытием мира и началом будущего движения в академии. Организаторы школы решили пригласить Льва Александровича Аннинского, известного советского литературного критика и критика кино. Это было его первое путешествие в США, и жена, помнится, завернула ему с собой в дорогу цыплёнка. Это показалось удивительным.

Аннинский привёз копии нескольких последних фильмов, в том числе «Покаяние» Абуладзе и «Мой друг Иван Лапшин» Германа. У нас появился доступ к самому современному материалу — он оказался невероятно интересным, и многие молодые исследователи, только начавшие делать карьеру в академии, увлеклись этим новым кино. Так создавался круг, который успешно работает по сей день, — в нём много и российских, и американских исследователей.

— Расскажи, пожалуйста, о конференции «Гласность в двух культурах».

— Идею проведения совместной встречи советских и американских женщин-писателей (а она, надо сказать, носилась в воздухе) поддержала Ассоциация современных языков. Одна из её руководителей Домна Стентон и декан Ратгерского университета Катрин Стимсон возглавили комитет. Планирование конференции, которая изначально виделась как совместное мероприятие славистов и исследователей-женщин, а также писательниц Северной Аме-

рики и СССР, заняло примерно год. В комитете было четыре славистки — Катя Непомнящая из Нью-Йорка, Нэнси Конди и Елена Гошило из Питтсбурга и я. Каждые два месяца мы встречались и обсуждали программу, думали, кого позвать. Единого мнения на этот счёт у членов комитета не было, поскольку они представляли различные сферы знаний. Например, участие в работе принимали ведущие феминистские критики: «женские штудии», исследования женщин, в те годы стали очень популярным, передовым академическим направлением в США, и само женское движение находилось в центре внимания. А в Советском Союзе начиналась гласность, политическое движение в сторону демократизации, которое нам казалось созвучным происходившему в американском академическом мире. Мы чувствовали: важно организовать между журналистами, критиками и писателями наших стран диалог.

— **Он вышел нелёгким, насколько я помню.**

— Слависты оказались как бы связующим звеном, мы старались обеспечивать диалог, пытаюсь находить точки соприкосновения. Американские представители часто не понимали позицию и точку зрения советских женщин, кажется, попросту их не слышали: считали, будто женщины в СССР мечтают вернуться к традиционному браку, сидеть дома. Американки реагировали бурно, попросту приходили в ужас: как такое возможно в России — стране, которая была в авангарде движения за освобождение женщин в XIX веке? Да уже в 1920-х в СССР были женотделы! Почему же они мечтают вернуться к патриархальному порядку?

В каких условиях жили советские женщин в 60–70-х, какую нагрузку — двойную и тройную — несли и т.д., американкам было невдомёк. Они ничего этого не знали, Баранскую не читали (*Наталья Владимировна Баранская (1908–2004) — российская и советская писательница. Её*

повесть «Неделя как неделя» (1969) рассказывает о типичных семи днях из жизни женщины, разрывающейся между работой и семейными обязанностями. — Ред.)

Конечно, мы предполагали, что будет нелегко, но очень ждали конференции. И она состоялась! Два дня в Нью-Йорке прошли прекрасно — интересные доклады, отзывы в прессе. Но за скобками программы всё же присутствовали напряжение и недопонимание, сохранившиеся надолго.

— Какие конференции, проекты последовали за этим?

— Больших конференций долгое время не было, но люди начали всё активнее сотрудничать. А главное, мы, слависты, начали регулярно встречаться с писателями в СССР и потом в России и, как результат, много переводить. Произошёл взрыв интереса к русской литературе в переводе на английский язык. Это был вообще пик интереса ко всему русскому.

А в 1990-х развивались обмены, появлялись новые стипендии, русские писатели и учёные стали приезжать в США регулярно. И конечно, расширялись и укреплялись неформальные связи, круг друзей.

Одной из первых молодых писателей в Америку надолго приехала Татьяна Толстая. Она сразу посетила несколько университетов (мы устроили ей такой тур), выступила в Барнарде, Дрю, Амхерсте, потом долго преподавала в Принстонском университете. Катя Непомнящая, Джейн Таубман и другие славистки в это время нередко «передавали» русских писателей и исследователей друг другу, поочерёдно организовывали им выступления, приглашали жить в своих квартирах. Это было настоящим движением, в котором участвовали десятки коллег, и в результате в начале 1990-х множество российских писате-

лей побывало в США. Однако к концу десятилетия интерес к России упал, в мире возникли другие «горячие точки», многие стали учить китайский и арабский, и на проекты по русской культуре стало сложнее находить средства. Однако полностью интерес к России не угасал никогда.

— В развитии диалога русских и американцев традиционно важную роль играли поэты. Ты уже говорила про Бродского, Венцлову. Лосев тоже сделал немало в этом плане.

— Лев Лосев заведовал кафедрой в Дортмуте, одном из наиболее ярких колледжей, где изучали русскую литературу, поэтику и где серьёзно занимались художественным переводом. Очень немногие знали в то время, что Лосев сам был прекрасным поэтом.

В 1986 году, когда по приглашению Бродского и Американского ПЕНа приехала группа писателей (Кушнер, Искандер, Гранин и Мориц), поначалу не все русские эмигранты отреагировали доброжелательно. Многие говорили, что это приехали советские писатели, а не русские. «Как на них смотреть?» — так называлась статья в «Новом русском слове», очень резкая. В ней в значительной степени отразились предрассудки, которые, конечно же, бытовали в эмигрантской среде. Но потом писатели-эмигранты и приехавшие из СССР всё же стали общаться. Не все, но в целом отношение изменилось. Для этого много сделал Томас Венцлова, и, конечно, сыграли роль публикации в Америке, которые не только показывали художественную силу и мастерство лучших современных писателей из России, но и убеждали, что нет двух русских литератур — есть одна.

— Во многом это благодаря переводам?

— Да. Мы получили новое поколение переводчиков — ещё один важный итог последних десятилетий, ведь перевод — то, что делает великую литературу созвучной другой великой литературой.

Подход к переводу поэзии меняется постоянно. В Америке он изменился, я бы сказала, кардинально. Сегодня художественный перевод у нас — это искусство. Я знаю, что подобный подход был и в СССР. Когда я серьёзно занималась переводом, то посещала курс не на кафедре славистики, а на кафедре искусств. Сейчас таких много, и переводчиков учат, как писателей. Как переводить поэзию — всегда больной вопрос. Мне лично сильно помогали американские поэты.

Есть определенные трудности, «несовпадения» между русским и английским языками. Русский в чём-то богаче. И важно передать не только смысл, но и нюансы создания образа, использования языковых средств, подтекст, ассоциации с образами классической русской литературы. Носители языка не всегда любят дословный подробный перевод.

Переводя Кушнера, я сотрудничала с американским поэтом Полом Грейсом — протеже Бродского, кстати. Я работала в обоих форматах — формального дословного перевода и чисто художественного. В формальном поэзия часто исчезает, а мне важно, чтобы она звучала на моём языке. Мне кажется, для достижения этой задачи надо работать с текстом более углублённо, уделять больше внимания семантическим значениям, контексту.

Сегодня, добавлю, переводчики всё больше и больше работают в формате художественной интерпретации. Вообще, это и по сей день очень серьёзный и трудный вопрос, и не все участники литературного процесса пришли к единому мнению.

— Ты переводила и прозу.

— Много прозы и разных эпох. В том числе известную в начале XX века писательницу-символистку Лидию Зиновьеву-Аннибал — это тоже нелегко, хотя, безусловно, с поэзией не сравнить. Сегодня у нас, переводчиков, есть возможность задать вопрос автору и уточнить свои впечатления. Скажем, не понимаю я что-либо у Кушнера — тотчас пишу ему по электронной почте: а что ты в шестой строке имел в виду? Могу и по скайпу позвонить и обсудить любую деталь. Теперь зачастую русские авторы неделями сидят рядом с переводчиками, и это помогает достичь наилучшего результата.

Классиков, конечно, уже ни о чём не спросишь, однако все переводчики классиков имеют возможность ориентироваться на более ранние переводы. Язык меняется, и твоя задача в новом варианте перевода передать суть романа или поэмы, используя современный язык.

— Что в Америке знают о современной русской поэзии? Те, конечно, кто ею интересуется?

— Почти нет информации о тех поэтах, которые работают в регионах, живут далеко от Москвы.

Нельзя не упомянуть и о совершенно новом феномене: молодые авторы, например Александр Стесин, Матвей Янкелевич, теперь нередко работают одновременно на двух языках или даже, как Стесин, на трёх. Поэты живут в Америке, пишут как по-русски, так и по-английски и могут переводить себя сами. Ещё одно новое обстоятельство — появились авторы, пишущие по-русски, но живущие в Израиле или на постсоветском пространстве. Их тоже начинают переводить.

— Что можно было бы назвать главным итогом сотрудничества русских и американских славистов в последние годы?

— Сотрудничество продолжает развиваться, каждый год приезжают учёные, в том числе молодые. К сожалению, в сравнении с другими регионами мира счёт сегодня не в пользу России. Это сказывается на американском финансировании. Мировая литература становится важным глобальным феноменом, и это не только русско-американский сюжет. Сегодня большой интерес вызывают Ближний Восток, Япония, Юго-Восточная Азия — те литературы и языки, которые прежде не были на виду, но сейчас «входят в моду». Технологии взорвали мир: возможности знакомиться с разными частями мира и разными культурами выросли многократно.

— Русские сегодня не в моде, считаются токсичными?

— Политика, несомненно, влияет на интерес к литературе, но далеко не всегда предсказуемо. Когда отношения России и США ухудшились, некоторые коллеги ожидали, что вырастет финансирование русских программ — этого не случилось, однако не исключено, что интерес к русской культуре вновь значительно возрастет. Во всяком случае, выходят новые книги и новые переводы.

Издательство Колумбийского университета открыло серию переводов русской литературы, и первое издание, выпущенное по этой программе, — новый перевод «Прогулков с Пушкиным» Синявского, который сделали Катя Непомнящая и Слава Ястремский. Перевод «Путешествия на Чёрную речку» они не успели завершить — работу закончил Майкл Найлан, профессор государственного университета Пенсильвании. Будут и другие книги в этом большом и важном проекте.

Славистика никогда не исчезнет. Да, старики, на которых держалась профессия, один за другим уходят. Мы потеряли многих, и не только из старшего поколения: Катя

Непомнящая, Светлана Бойм в Гарварде; недавно от нас ушла замечательная переводчица Джейми Гамбрелл. Это большая потеря.

Однако за последние три года появилось немало интересных молодых специалистов. К сожалению, по пальцам пересчитать сорокалетних славистов — в этом поколении многие покинули профессию, в том числе по экономическим причинам. Но, с другой стороны, это упрощает задачу молодым, которые только начинают академическую карьеру.

— Сегодня в Америке очень много преподавателей, которые приезжают из России и остаются надолго. Это изменило славистику?

— Большинство американских отделений славистики имеют среди преподавателей выпускников российских университетов, хотя им закрепиться в этой среде не всегда легко, конкуренция велика. Американские преподаватели, аспиранты и даже студенты очень хорошо владеют русским языком, проводят в России много времени.

Самое интересное, в чём очень успешно сотрудничают русские и американские учёные, — это, наверное, интересекторальные исследования, выходящие за пределы исключительно филологии. Литература, культура, социология, антропология — разные подходы нередко совмещаются в рамках одного проекта, одной дискуссии и обогащают её.

Вообще, в гуманитарных науках люди становятся всё более открытыми, личные контакты и обменные программы прочно вошли в жизнь.

Не могу сказать, что в политических науках всё обстоит так же. Однако мне представляется важным, что и в социальных науках всё чаще идёт разговор о культуре, её значении.

К сожалению, мы в США переживаем период, когда сомнению подвергается всё. Надо ли изучать курс литературы? Ведь чтение — это удовольствие, читаешь для себя. Так к чему тратить время на изучение теории и истории литературы? Идея сама по себе, конечно, не нова, и я уверена, серьёзное отношение к изучению литературы, текстов и их формальному анализу вернётся.

В целом могу сказать, что слависты всегда оказывались на переднем крае, подготавливали перемены. Я убеждена: придёт осознание, что изучение культуры, литературы друг друга важно не только для академической науки. Именно это знание даёт политикам и вообще всем без исключения тот бэкграунд, который необходим для понимания мира, в котором мы живём, и его перспектив.

Беседовала Надежда Ажгихина

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ

О том, что в Нью-Йорке готовится конференция о творчестве женщин, я впервые услышала от Кати Непомнящей. С Катей, «моей американской сестрой», мы познакомились в 1989 году в Москве, дома у шефа-корреспондента журнала «Тайм» Джона Кохана. Просторная квартира Джона на Кутузовском проспекте стала одним из знаковых мест встречи друзей, точнее, того широкого круга единомышленников, коллег, героев публикаций и просто одарённых и ярких людей, которых мой муж Юра Щекочихин называл «командой». В неё Джон, первый американец, который появился у нас дома на Лесной (после затянувшегося интервью о мафии в СССР), был принят на равных, чем очень гордился. Практически каждую неделю он приглашал русских и не только друзей, готовил неизменную лазанью, щедро угощал всех желающих напитками из «Берёзки» и с не меньшей, чем наши соотечественники, горячностью участвовал в спорах о судьбах перестройки, политики и искусства в СССР и в мире.

С Катей мы встретились в тот вечер, когда в гостях у Джона оказался Питер Брук. Великий актёр был в центре всеобщего внимания, прежде всего американцев, которые его буквально не отпускали, так что пообщаться нам с Катей почти не удалось — договорились встретиться завтра, благо я жила совсем рядом. О Кате (они вместе изучали русскую литературу в Колумбийском университете) Джон уже успел мне и Юре многое рассказать: об их сов-

местных экспедициях к Солженицыну в Вермонт, о её дружбе с Синявским и Розановой, о её русском муже, который, будучи невыездным, семь лет, как в Библии, ждал воссоединения с Катей после краткого студенческого романа в Сочи, а теперь руководит технической поддержкой большого банка... Я заканчивала аспирантуру на кафедре критики МГУ, и Джон считал, что мы с Катей непременно должны встретиться.

Первое, о чём она меня спросила, оторвавшись от Питера Брука, — знаю ли я, как найти Галину Андреевну Белую. Конечно, я знала: Галина Андреевна была не просто моим преподавателем в университете, но и близким человеком, мы встречались и перезванивались регулярно.

Вскоре оказалось, что у нас с Катей есть и другие пересечения. Я писала о публицистике Абрамова, о его интересе к западной практике (об этом свидетельствовал только что опубликованный вдовой Фёдора Александровича сборник его эссе и заметок) и хотела узнать, с кем он встречался в Нью-Йорке. Оказалось, что российско-американская семья, описанная Абрамовым в заметках, — это как раз Катя и Слава...

Все последующие дни мы провели вместе, я возила Катю по Москве и в Переделкино, мы встречались с писателями Валентином Берестовым, Андреем Вознесенским и Зоей Богуславской, были у Борщаговского, у Ларисы Васильевой, конечно, у Галины Андреевны Белой, у Жени Альбац и Ярослава Голованова, у Льва Шилова и Евгения Борисовича Пастернака, у многих других... Обсуждали последние публикации, в том числе сборник «Не помнящая зла», повести Валерии Нарбиковой, Светланы Василенко и Ларисы Ванеевой в журналах и альманахах, спорили о них. Катя говорила, что советские критики не понимают феминизма. Тогда про феминизм не очень понимала и я, но знала ещё по журналистскому опыту, что любое выска-

зывание женщины о праве решать, как ей жить и чувствовать, вызывает у статусных мужчин и женщин бурю негодования, и считала это знаком «совка» с присущей ему ригидностью мышления.

Катя, которая до перестройки не бывала в СССР несколько лет (её не пускали к Славе точно так же, как и его в США), теперь старалась приезжать в Москву как можно чаще, в 1990-м, например, трижды; останавливалась уже не у Джона, а в квартире моей мамы по соседству, и мы днями и ночами продолжали наши нескончаемые разговоры о жизни, о близких, о литературе и снова о жизни...

Во время одной такой беседы Катя и сказала, что мне надо непременно познакомиться с главной исследовательницей женского писательского творчества в России, профессором Еленой Гошило, которая как раз работает над конференцией на эту тему. И было бы здорово мне тоже в этой конференции поучаствовать. Практически в эти же дни я услышала о Елене Гошило от своего нового начальника Владимира Вигилянского (после аспирантуры я пришла работать в отдел литературы «Огонька»).

Оказалось, Елена долгие годы дружила с его мамой, писательницей Инной Варламовой, переводила её рассказы. Не помню, Елена или нет пригласила Володю и его сестру в Америку — он вернулся с горящими глазами, рассказывал о тамошней жизни, о возможностях, которые открываются на каждом шагу. Запомнилась деталь: кто-то привёл его в огромный магазин пуговиц: несколько этажей, и в каждом зале — пуговицы, какие только можно вообразить... Когда я рассказала об этом Галине Андреевне Белой, она как раз обсуждала со своей портнихой новое платье — портниха загорелась и заказала мне какие-то особенные пуговицы, на случай если я тоже поеду в Америку...

С Еленой Гоцило мы встретились летом 1990-го в гостинице «Академическая» на Октябрьской — там останавливалось большинство приезжавших в СССР западных славистов. Я поднялась к ней в комнату, она уже ждала, вышла навстречу: яркая помада, сияющие голубые глаза, летящие кудрявые волосы, облик в целом — сплошной порыв. За спиной появился высокий красивый мужчина, представился — Брит. «Пойдём вниз выпьем кофе, — предложила Елена, — муж пока занят, стирает мои вещи».

Потрясённая, я последовала за ней.

Приглашение от Елены Гоцило на конференцию под названием «Гласность в двух культурах» мы получили одновременно с Олесей Николаевой. Тогда поездки за границу были редкостью, оформлять визы должны были специальные люди по месту работы. Мой муж в составе делегации молодых политиков незадолго до этого летал в США, но их визитом занимался Верховный Совет СССР. Из поездки он привёз джинсы, «Лего» для сына и два блока «Мальборо».

Нас с Олесей оформляла завкадрами «Огонька» Людмила Борисовна Станкевич. Но, помимо визы, предстояло ещё приобрести билеты, что было практически невозможно. Мой товарищ по литературной студии Дима Стахов как раз в эти дни собирался по частному приглашению к другу в США: он рассказывал, как мучительно долго стоял в очередях, для того чтобы получить разрешение обменять рубли на 30 долларов (максимально возможная для провоза сумма), через знакомых фарцовщиков искал билеты...

Катя Непомнящая написала, что нам билеты и суточные оплатит Фонд Сороса, который начал работать в СССР. Прислала факс с указанием, когда и куда идти. За два дня до вылета мы с Олесей направились по указанному адресу в переулке около метро «Лермонтовская». Нас никто не ждал. Мы ходили из кабинета в кабинет, и всюду

не очень любезно отвечали, что ничего для нас нет, и старались поскорее выпроводить. В какой-то момент Олеся заплакала. Мы стояли посреди коридора, потерянные, несчастные, униженные... И тут появился молодой человек, который неожиданно проявил к нам участие, наверное, просто пожалел. Мы рассказали о своей беде, он повёл нас на другой этаж, где немедленно, как в сказке, нашлись и были нам вручены заветные билеты. Я заикнулась было про суточные, но тут наш спаситель быстро проводил нас к выходу.

Мы обе летели в Америку впервые. Для меня это была вообще первая настоящая заграница — до этого ездила только в Чехословакию по студенческому обмену и в Болгарию, в дом творчества писателей в Созополе (аналог нашего Коктебеля), с Юрой и поэтами Руменом Леонидовым и Георгием Брисовым, издателями журнала русской литературы «Факел».

Перелёт через Атлантику отличался от современного беспосадочного — рейс «Аэрофлота» делал посадку в ирландском Шенноне, где нас выпускали на пару часов в транзитную зону, там работал бар и можно было выпить ирландского пива и съесть бутерброд; и потом — в Ньюфаундленде, в аэропорту «Гандер», где не было ничего. В пустом и холодном зале ожидания, где мы ёжились, грея в ладонях выданные проводницами ледяные банки кока-колы, обращала на себя внимание слегка приоткрытая дверь с надписью «Эмиграция». Нам тут же сообщили, что канадские власти благосклонно относятся к советским гражданам, желающим поселиться в Канаде, — перед нами здесь почти в полном составе осталась профсоюзная делегация, направлявшаяся на международный конгресс.

Полуживые от усталости, мы наконец были встречены Катей и доставлены в гостиницу на Манхэттене, неподалё-

ку от университета Нью-Йорка, прямо на площади Вашингтона.

Рано утром я вышла из номера. Светило солнце, на свежей траве расположились молодые люди, видимо, студенты, они курили и пили воду из маленьких бутылочек. На углу площади продавали воду и бублики. Я купила бублик и бутылку негазированной воды (в СССР такой не было), села на лавочку и вдруг поняла, что это мой город, что мне тут хорошо, что его ритм, его люди, его энергетика мне близки не меньше, чем московские. Ко мне обратился какой-то человек, просил закурить (тогда все и везде курили). Я ещё очень плохо говорила по-английски, но вытатила зажигалку, поняла его вопрос и сказала, что я из Москвы. Он улыбнулся, стал быстро говорить что-то, чего я не разобрала, потом показал большой палец и ушёл.

Про Америку те, кто успел в ней побывать, рассказывали разное. Очень многие с восторгом описывали продовольственные магазины и промтоварные «моллы», их изобилие. Ходили апокрифы, типа того, как учительницы из глубинки падали в обморок перед прилавками с колбасными изделиями. Думаю, это были выдумки — советские граждане, напротив, отличались психической устойчивостью, а нередко и исключительно практическим подходом к делу. Некоторые брали с собой изрядное количество сувениров — советские значки, ширпотреб из Военторга с советской символикой, один коллега даже обернул вокруг себя, чтобы не вызвать вопросов на таможне, советский флаг и продал за 50 долларов, что тогда было немалой суммой.

Мой муж Юра первый раз поехал в США в 1990 году в составе делегации молодых политиков, он запомнил встречу с полицейскими и то, как его пригласили в ночной рейд по Нью-Йорку. Но более всего его поразили члены советской делегации — помимо демократов из «Межре-

гиональной депутатской группы», в неё входили выдвиженцы КПСС и «назначенцы» из религиозных организаций и казаков.

Валя Юмашев, который первым из всех «огоньковцев» (за исключением Коротича) поехал в Америку участвовать в Марше мира, с восхищением рассказывал, что люди там постоянно улыбаются. Они проехали с Маршем по нескольким штатам и повсюду встречали улыбки.

Коротич, конечно, был знатоком Америки. Не таким, разумеется, как Засурский, который по-настоящему дружил с американскими писателями и журналистами, великими и просто значительными, и был, как я потом убедилась, в их среде своим. Коротич приезжал в Америку вместе с поэтами Евтушенко и Вознесенским, написал книгу «Лицо ненависти», пропагандистскую, за которую его потом ругали — реабилитироваться ему удалось только после распада СССР, когда в 1992 году провёл в Москве масштабную международную конференцию «Анатомия ненависти» вместе с Фондом Эли Визеля.

И уже будучи главным редактором «Огонька», Коротич нередко приезжал в Америку, где его ждали, а «Нью-Йоркер» посвятил целый номер. Он много и с удовольствием рассказывал об Америке как о грамотно обустроенном обществе, о производстве, которое нацелено на реальные нужды человека...

Между прочим, Виталий Алексеевич находился в США в качестве гостя (или стипендиата) Школы журналистики Колумбийского университета и в то время, когда мы приехали на конференцию. Мы кратко встретились с ним, кажется, в японском кафе, и он даже помог мне найти магазин пуговиц, чтобы я смогла выполнить заказ Галины Андреевны (точнее, её портнихи). Я рассказала о конференции, и он нашёл тему очень интересной и потом напечатал

материал о славистках, изучающих российских писательниц.

Благодаря многочисленным рассказам друзей и знакомых об Америке, я к грядущим впечатлениям была более-менее подготовлена. Магазины меня не особенно впечатлили, я о них уже слышала и даже видела какие-то первые репортажи с Пятой авеню, которая для наших корреспондентов с приходом перестройки внезапно стала притягательна не менее знаменитого «Зориэс хаус», трущобного вида развалин в Южном Бронксе, служивших традиционной заставкой советских репортажей об «осеннем наступлении» или «весеннем наступлении» трудящихся.

Поразили музеи (в «Метрополитен» мы отправились сразу после заседания), многообразные проявления культурных и антропологических различий и самобытности, яркость красок и уйма возможностей прикоснуться к чужой культуре в самых разных её проявлениях. Хочешь почитать о России или Японии — иди себе в публичную библиотеку и читай спокойно. Хочешь суши взять с собой домой — пожалуйста; кофе на улице выпить с булкой и сосиской — два доллара (тогда); можешь также, если угодно, присесть с едой на травке близ арки на площади Вашингтона... Японские, корейские, итальянские рестораны и дешёвые кафешки, люди, чья внешность несёт приметы всех существующих на планете рас и народов, пестрота улыбающейся (!) толпы; обилие красок и звуков — от нервных клаксонов до латиноамериканских ритмов и мантры Хари Кришна; запах горячих бубликов, пряностей; неторопливо отбивающий чечётку на ступеньках «Метрополитена» пожилой мулат, его отточенные движения и небольшая группка молодых туристов с фотоаппаратом...

Впечатления этой, самой первой, короткой поездки не истончились с годами, они и сейчас остаются столь же

яркими и солнечными, как в те далёкие мартовские дни. Мой Нью-Йорк, бесконечно разный, стремительно, как и весь мир, меняющийся, с тех пор засел в памяти и в сердце навсегда.

Конференция не походила ни на одно научное или общественно-политическое собрание, на каких мне доводилось бывать. Огромный зал, торжественно, как мне показалось, декорированный, похожий на театральный; участники сидят на удобных стульях в партере, выступающие поднимаются на сцену и становятся к изящной кафедре. Открыла конференцию хозяйка — профессор Университета Нью-Йорка Домна Стэнтон, по моим представлениям, больше похожая не на профессора, а на телеведущую или киноактрису: средних лет, холёная, подтянутая, очень стильно одетая и с украшениями, скорее всего, не бижутерией, а настоящими. Я уже успела к тому времени познакомиться с американскими профессорами: кроме Елены Гоцило и Кати, с Кэрол Юланд и Ричардом Борден, чья жена-юрист получила работу в Москве, — они все выглядели иначе и иначе разговаривали.

Русских участников было немало, очень разных. Блиставшая на страницах литературных журналов и нашего «Огонька» Наталья Иванова, автор книги «Американки» писательница Зоя Богуславская; Татьяна Толстая, также автор «Огонька», — она к этому времени уже уехала в Америку преподавать в Балтиморе, кстати, первой из советских писателей воспользовавшись этой открывшейся в перестройку возможностью. Далее: Олеся Николаева, кинорежиссёр Лана Гогоберидзе (её фильм «Несколько интервью по личным вопросам» с Софико Чиаурели отдельно показали на конференции); вызвавшие бурную дискуссию молодые писательницы Светлана Василенко, Лариса Ванеева, Валерия Нарбикова и совершенно мне тогда неизвестные Ольга Татаринова, Елена Трофимова и Татьяна Кли-

менкова, которых привезла за свой счёт предприниматель Диана Медмен.

Все они публиковались в издаваемом Дианой журнале «Преображение» (главным редактором была Ольга Татаринова, интересная писательница, рано умершая). Татьяна Клименкова запомнилась исключительно яркой одеждой не вполне сочетаемых цветов, очень быстрой речью и совершенно непонятным для многих из нас выступлением о философии феминизма. Она, между прочим, рассказала, что в Москве начинает работу центр гендерных исследований — для большинства соотечественниц это оказалось большой новостью. Американки быстро нашли с Татьяной общий язык, говорили о важности феминизма для изучения культуры — понятно было не всё. В целом возникло ощущение, что они больше заняты обсуждением собственных проблем, а не поиском общих сюжетов.

Запомнились выступления Елены Гошило о советских женщинах-писательницах; Марины Викторовны Астман (Ледковской), которая уже работала над составлением словаря русских женщин-писательниц разных эпох; Марины Тёмкиной, говорившей о поэзии, и эмоциональная, как всегда, речь Татьяны Толстой...

Наши молодые писательницы выступали не в этом роскошном зале, а на следующий день, во время делового обеда (новый для меня формат — никогда раньше не видела, чтобы официально совмещали еду и серьёзный разговор), и рассказали о группе «Новые амазонки».

Вообще, самое интересное происходило не в зале, а в кулуарах и, что называется, вокруг конференции. Послушать и познакомиться с русскими писательницами пришло довольно много разных людей: тут были аспиранты и молодые исследователи-слависты, переводчики и просто интересующиеся русской литературой. Заходили и наши соотечественники, например мой однокашник по литера-

турной студии Дима Стахов вместе с другом-психологом Максимом Киселёвым. Они приехали из Йелля, где Максим работал на стипендии. Именно тут мы познакомились с Джейми Гамбрелл, Памелой Паркинс, Эллен Чансез, Нэнси Конди, Сашей Сумеркиным, Светланой Бойм, Рэчер Ручланд — теми, с кем завязалась дружба на долгие годы.

Мы ходили в гости к переводчице Татьяны Толстой Джейми Гамбрелл. А потом, когда закончилось наше время в гостинице, Джейми по просьбе Кати пригласила меня пожить пару дней у неё в Ист-Виллидже (в однокомнатную Катину квартиру на Сентрал-Парк-Уэст тогда приехала погостить её мама). Проговорили с Джейми ночь напролёт — обо всём! — и удивлялись, насколько мы похожи и одновременно не похожи...

Несколько последующих лет я останавливалась в Нью-Йорке в основном у Джейми, в просторном и безалаберном лофте на Грей-Джонс-стрит, над пожарной станцией, где день и ночь раздавались сирены. Джейми дружила с Бродским и его тогдашним секретарём Сашей Сумеркиным, и наша группа навестила поэта на Мортон-стрит.

Максим Киселёв показал нам дорогу в книжный центр Вероники Штейн на Парк-авеню, и мы с Натальей Ивановой набрали там по чемодану изданий — от Цветаевой и Мандельштама до Зиновьева и Солженицына, тогда ещё недоступных в СССР.

Мы ходили в любимое кафе Бродского «Данте» на Макдугал-стрит, исходили весь Сохо, разговаривая о литературе, о жизни, о происходящем в России и в США, о нашем будущем... В этих разговорах рождались грядущие проекты и планы. Определённо можно сказать, что именно тогда был заложен последовательный интерес американских исследователей и переводчиков к русским писатель-

ницам и сотрудничество исследователей двух стран обрело новые перспективы.

Трудно сосчитать, начало скольких проектов кроется в тех мартовских днях. К примеру, Марина Викторовна Ледковская, хотя ещё прежде собирала материал о русских писательницах, но поездка на конференцию, несомненно, обогатила её проект, в том числе новыми участницами и помощниками. Первые издания «новой женской прозы» и переводы сборников — непосредственный результат конференции, как и первые совместные публикации о феминизме и феминистках, о необходимости создания общего интеллектуального и культурного пространства...

Мы очень хотели знать друг о друге больше, но это было не так просто, что отчётливо продемонстрировала конференция. Даже наивным русским, плохо понимавшим по-английски, становилось очевидно, что американки мало представляют нашу жизнь, нашу ситуацию и не до конца понимают наши тексты. Вот иллюстрация к этому: увидев по телевизору у Джейми репортаж из Москвы, я бросилась звонить домой — решила, что началась революция и сторонников перестройки вот-вот примутся сажать. Оказалось, ничего такого — на площади Маяковского всего лишь рутинно митинговали казаки и коммунисты.

Мы спешили лучше узнать друг друга, больше разговаривать, больше рассказать каждая на своём языке. После возвращения я опубликовала в «Огоньке» материал «Люди против железобетона» — об американских славистах, которые вместе с русскими интеллигентами долбили с обеих сторон виртуальную стену между нашими культурами, между людьми.

В тот год я ещё дважды попадала в Америку. Сначала — в Северную Каролину, в рамках уникального проекта, который придумали декан журфака МГУ Ясен Николаевич Засурский и профессор Принстонского университета Эл-

лен Чансез: они решили собрать славистов и американистов из двух стран! Это оказалось совершенно замечательным начинанием — состоялись встречи в США и в Москве. К сожалению, сборник с материалами по каким-то техническим причинам так и не вышел.

А осенью, уже после августовских событий (те дни мы провели вместе с Катей и Джейми в Москве и с Катей впоследствии написали об этом небольшую книгу), я впервые приехала на Всеамериканскую конференцию славистов в Майами, оказалась одной из очень немногих советских (ещё был СССР) участниц и стала одним из первых русских членов Американской ассоциации... О современной литературе и тем более о женском творчестве на этом самом престижном академическом собрании тогда практически не говорили...

«ВСТРЕЧА СТАЛА УРОКОМ ФЕМИНИСТСКОЙ ПЕДАГОГИКИ»

**Беседа с Нэнси Конди,
профессором Питтсбургского университета
директором Питтсбургского центра
исследований России,
Восточной Европы и Евразии**

— Как и почему я стала изучать русскую культуру? Кто были учителя, каково вообще было отношение к русской культуре в Америке?

— Спутник был запущен в 1957-м. С 1957 по 1965 год в американских средних школах набор на уроки русского языка достиг своего пика.¹ В 1965-м мне было пятнадцать, и — как это случается в пятнадцать — я оказалась совершенно безразлична к спутнику, и в то же время это событие в значительной степени повлияло на моё формирование. Тогда, в 1965-м, я была захвачена двумя вещами, которые в моём понимании не имели к спутнику никакого отношения. Во-первых, меня потрясло то, что у русских совершенно другой алфавит. Почему? Ведь это европейцы, а не китайцы. Во-вторых, вышел «Доктор Живаго». Как я тогда подумала, этот «оригинальный» шедевр был советским продуктом — в конце концов и уличные революцион-

¹ J. Thomas Shaw, «AATSEEL: The First Fifty Years,» *Slavic and East European Journal* 35 [American Association of Teachers of Slavic and East-European Languages Golden Jubilee Issue] (1991): 117.

ные протесты в «Докторе Живаго» описывались с помощью знаков именно этого алфавита. Всё это имело значение.

Наэлектризованная чередой подобных непониманий, я почувствовала, что настало время отдалиться от родителей (с их страстями к «Кольцу Нибелунгов» и греческим стихам Мильтона) и посвятить себя радикальным переменам. «Радикальное» означало, с одной стороны, перейти в другой конец коридора в колледже — с факультета музыки или английской литературы на факультет иностранных языков. С другой стороны, проявлением «радикальности» стала поездка на три месяца в СССР в 1966 году. Мне было шестнадцать. И моя жизнь изменилась навсегда. Но о поездке чуть позже.

Студенты поздних 1960-х и 1970-х помнят Вьетнам не только по репортажам CBS; они помнят протесты, кульминацией которых стала Национальная студенческая забастовка в 1970-м, когда 1 мая мы заблокировали университетскую администрацию до конца семестра. Наши преподаватели по русскому языку находились (мягко говоря) не в авангарде революции, и после тех событий для нашего поколения будущих славистов наступили годы раздвоенности, если не «растроенности» сознания. Парафразируя раннего Маркса, мы читали «Евгения Онегина» утром, оккупировали офис декана после обеда, а вечером спрягали глаголы движения несовершенного вида. Я не порекомендовала бы такой план занятий, но в 1970 году он казался нам разумным.

Русский читатель легко узнает эту раздвоенность: двоеверие, в конце концов, было представлено как в оппозиционной, так и националистической русской культуре. Когда мы, молодые слависты, поехали продолжать учёбу в Московский или Ленинградский госуниверситеты, то быстро освоились в этой знакомой обстановке расколотого

сознания: мы повторяли глаголы движения (на этот раз утром!), посещали Музей Ленина днём, а вечером приходили к диссидентски настроенным друзьям. Это двоеверие имело свою гармоничную интеграцию: наши эссе на русском (десять глаголов движения, описывающих экскурсию по Музею Ленина) надо было сдавать на следующее утро, наши осмотрительные антисоветские друзья правили их, прибавляли приставки и вычеркивали непочтительные западные эксцессы. Некоторые из них, кстати, жили неподалёку от Музея Ленина, от которого к ним можно было идти или ехать — с приставкой или без, туда и обратно или в одном направлении, с ночёвкой, трезвым или не очень.

Жизнь внутри этих взаимно антагонистичных систем в 1970-е со временем стала рутиной, вне зависимости от того, было ли это в американских университетах (с нашими консервативными преподавателями-эмигрантами) или в советских (где случались преподаватели-информаторы). Я в долгу у них всех за то, что они обогатили моё понимание взрослых.

До 1990-х преподавание русской литературы в Америке было, конечно, стратегически фрагментарным. Первый период — 1882–1932 годы, то есть от статьи Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» до апрельской резолюции ВКП(б) 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций». Потом, с 20-летним перерывом, — период с 1953-го по 1964-й. Словом, 50 лет высокой культуры и 11 в идеологических окопах. Последующие полвека вообще не удостоивались внимания. Дескать, и так уже много всего.

Меня же — студентку — наперекор всему тянуло к «пропущенным годам», я будто слышала их зов. Как и Кэрол Юланд, я благодарна коллегам из Колумбийского университета, в том числе Марине Ледковской (она вела лек-

ции по истории русской грамматики) и Нине Берберовой, которая читала лекции по «живой» эмигрантской литературе, то есть об этих пропущенных годах. Каждую неделю я была одной из тех, кто отправлялся поездом из пригорода на их семинары. Когда в 1972 году я поехала в СССР учиться в ЛГУ, Нина Николаевна снабдила меня координатами Иосифа Бродского, хотя его ситуация к тому времени уже окончательно осложнилась, и Надежды Мандельштам, которая только что закончила «Вторую книгу», — комментарии к новой книге Берберова передала со мной. Всё это протянуло мостики к «пропущенным годам».

Как американцы смотрели на нас, молодых «экспертов»? Они, как правило, мыслили в чёрно-белых категориях. По их логике, мы были либо шпионами, либо идиотами. Поскольку мы знали, что не принадлежим ни к тем, ни к другим, нам нечего было добавить к этому разговору. Как они могли не понять, что наша сфера интересов бесконечно захватывающая? Почему бы им всем не изучать советскую культуру? Я до сих пор не знаю ответа на эти вопросы.

— Первая поездка в СССР — как это было? Что произошло?

— В 1966 году шестнадцать мальчиков и девочек — все по случайности шестнадцатилетнего возраста — были отправлены в трёхмесячную поездку по СССР. Нашей группой руководил вечно раздражённый (разумеется, по непонятной подросткам причине) учитель из нашей школы-интерната (квакеров или — по их названию — Общества друзей). Мы ехали на двух микроавтобусах, спали в палатках от Бреста до Москвы, затем направились в Ялту и, через Черновцы, — в Румынию.

В СССР меня в 1966 году ошеломило абсолютно всё и, учитывая мой возраст, особенно удивили самые обыкновенно-

венные зрелища. Два момента засели в памяти. Первый — поля подсолнухов (такие же величественные, как в волшебной стране Оз), которые простирались до самого горизонта. Второй — настоящие крестьяне, которые сидели на скамейках на обочине. Не только потому, что я никогда не видела крестьян, а потому, что думала, крестьян больше нигде в мире не осталось, кроме как в трёх-четырёх диснеевских фильмах. Так что лето 1966 года перевернуло меня; откровения следовали одно за другим, поступательно. Первая стадия понимания: наверное, всё местными жителями воспринимается как реальное. Вторая: это стало реальным. Третья: мой собственный мир (Волшебник страны Оз и фильмы Диснея) оказался куда более искусственным, чем я представляла себе до поездки.

Покинув СССР, наша группа провела остаток лета в Югославии, в рабочем лагере на реке Сава под Загребом, помогая строить дамбы, чтобы защитить пахотные земли от проникновения радиоактивной воды, — самая подходящая работа для шестнадцатилетних, в начале фертильного возраста, девушек. По счастью, нас выгнали через две недели: в целом к нам относились доброжелательно, но мы слишком много ели и были совершенно непригодны для обычного физического труда.

— Брежневская Москва и опыт в советском издательстве «Радуга». Знакомство с андеграундом. Каково всё это было?

— С 1984-го по 1986-й мой партнёр Володя Падунов (он приехал в США со второй волной эмиграции из лагеря перемещённых лиц) работал в издательстве АПН «Радуга» как стилист-редактор, а я получила американский исследовательский грант. Работой службу в АПН можно было назвать разве что в широком филантропическом понимании. Это была работа по-советски: когда наступал дед-

лайн, мы оба трудились с невероятной самоотдачей, а в остальное время в основном ходили к Валерию Беляковичу в Театр на Юго-Западе смотреть Виктора Авилова или слушать метафизику Сергея Кургиняна в театре «На досках», посещали поэтические квартирники Татьяны Щербини и других, мастерские Ильи Кабакова и Гриши Брускина, а также участвовали в посиделках у Дмитрия Александровича Пригова и его жены Надежды, у Евгения Попова, у Виктора Ерофеева и его первой жены Вещи (Веславы), у Володи Сорокина, у которого тогда только родились близнецы. На второй год нашего московского житья у нас самих родилась дочь: не могу передать, как «приземлился» наш полёт. Мы при любой возможности старались улизнуть из дому — наша дочь Кира, которая недавно сама стала мамой, говорит, что простила нас... В основном простила.

— Конференция «Гласность в двух культурах». Подготовка, сама встреча, что было самым важным? Каковы итоги, какие новые проекты проявились?

— Советско-американская феминистская конференция в 1991 году стала водоразделом, я была очень благодарна за возможность оказаться в составе организаторов. Согласна с тем, что сказала Кэрол Юланд, и отметила бы сегодня три момента.

Первое: американская сторона подошла к этому событию, не осознавая своих провинциальности и заносчивости. Напомню, что это был 1991-й, а не 1985-й: в течение шести лет привилегированные, полуобразованные американские эксперты инструктировали советскую интеллигенцию в вопросах западных финансов, путешествии, собственности, страхования и медицины. Это было и хорошо, и плохо. Но осталась ли к 1991 году хоть одна тема, по которой американские эксперты не читали лекций?

Что касается их собственной идентичности как женщин (вероятно, наиболее деликатная тема), оказалось, что она дефектна, неверна, иллюзорна, фальшива и устарела (вердикт, вынесенный ныне так уже не называемым «антикоммунистическим проектом»). Такая примерно мизансцена сложилась на конференции, чего никто, включая меня, не предвидел.

Второе: со стороны американских участниц не было любопытства, и это разъярило участниц советских. Несмотря на большую работу, которую серьёзные эксперты проделали, чтобы мероприятие состоялось «на низовом уровне», оно в итоге превратилось в урок феминисткой педагогики, который адекватно могли бы отобразить только Кира Муратова или Людмила Петрушевская.

И третье (в противоречие тому, что могло бы прозвучать): это была в конечном счёте необходимая историческая схватка, и (хотя больно) мне повезло быть её свидетелем.

— Проект «Русская культура и субкультуры на рубеже 80–90-х» стал первым масштабным проектом, междисциплинарным и новаторским. Он, мне кажется, предопределил развитие взаимодействия на все последующие годы. Каковы основные его вехи и итоги?

— Вместе с Володей Падуновым я организовала команду из 10–15 исследователей, которые с 1990-го по 1993-й встречались ежегодно как рабочая группа по современной русской культуре — проект был поддержан Американским советом изучения сообществ и Советом социальных исследований. В каждом из мест встречи — в Москве, Беркли, снова в Москве (спасибо Наде Ажгихиной) и, наконец, в Лондоне — мы представляли рабочие доклады. Помимо известных американских исследовате-

лей, таких как Катерина Кларк и Гриша Фрейдин (и молодых Сьюзан Ларсен, Эрик Найман, Анн Несбит), в этой группе участвовала когорта теперь уже известных русских учёных, среди которых Андрей Зорин, Марк Липовецкий, Евгений Добренко и Михаил Ямпольский.

Мы не предполагали выпускать монументальный труд, но, как бы то ни было, вышли два тома — «Советские иероглифы: визуальная культура в конце XX века в России» под моей редакцией (Индианский университет, 1994) и «Русская культура в процессе перехода: избранные статьи членов рабочей группы по изучению современной русской культуры 1990–1991» под редакцией Григория Фрейдина (Стенфорд, 1993), а также отдельные статьи в «Искусстве кино», «Вопросах литературы» и других изданиях. Я не скажу за других, но для меня это был формообразующий опыт: полемика, войны теорий и новые исследования оказали глубокое влияние на мою работу и в целом на то, как я думаю и пишу.

— Что изменилось в американской славистике в последние годы? Что можно сказать об исследованиях культуры? Какова роль взаимодействия русских и американцев? Расскажи о своём Центре, его программах.

— После 1991 года сфера славистики — традиционно замкнутая и консервативная — стала более толерантной и междисциплинарной. Приведу как пример наше отделение славистики, где я, как правило, веду три-четыре диссертации. Обзор тем диссертаций без дополнительных тезисов является неизбежно поверхностным, тем не менее назову несколько.

Наши аспиранты пишут диссертации (примерно по 200–250 страниц) на такие темы, как: вклад мыслителя-утописта Александра Богданова и теоретика организации

труда Алексея Гастева в последние исследования пост-субъективности в XXI веке; кино Республики Саха в контексте глобального изучения коренных народов; современная литература, в особенности Пелевин и Сорокин, в диалоге с западными теориями инфрагуманизма. Вряд ли эти темы без контекста что-либо говорят случайному собеседнику: это своего рода «тепличный диалог», телеграфный разговор посвящённых. Я об этом не жалею и рада, что наконец в нашем зверинце появилось место и для таких разговоров.

Помимо академических обязанностей, я работаю директором Питтсбургского центра исследований России, Восточной Европы и Евразии. Основанный в 1965 году, он является одним из старейших подобных центров в США; всего их десять, и все они находятся в крупных исследовательских университетах. Наша основная задача — наращивание потенциала, а также содействие экспертизе (социологической, политической, культурной, экономической) по вопросам, имеющим отношение к России, Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии, в самом широком спектре — от ирригационных систем до средневековых манускриптов.

Лучше всего об этом сказано на нашем сайте. Вот, к примеру, весной 2022 года ведётся диалог историков о советских 1980-х «Гласность, ускорение, перестройка»: <https://www.ucis.pitt.edu/crees/>. А это цикл дискуссий, который ведёт наш коллега Шон Гиллори, о памяти, политиках и материальных артефактах повседневности: <https://www.ucis.pitt.edu/crees/spring-series-2022>. Я приглашаю читателей зарегистрироваться на вебинары, которые их заинтересуют, и присоединяться к дискуссиям.

— Американские слависты и русские интеллигенты с обеих сторон долбили железный занавес. Смогут ли они сегодня вместе противостоять ненависти всех

против всех, новой холодной войне? Или времена идеализма прошли?

— Я надеюсь, мы (по крайней мере, американская интеллигенция, а я думаю, таковая есть) наконец перестанем учить русских партнёров жить. Они часто значительно более образованны, чем мы, и как минимум лучше разбираются в том, как жить и во что верить, особенно в своей стране. Мы смотрим с огромным интересом на развитие русской культуры, поддерживаем общие идеалы равенства и толерантности.

Беседовала Надежда Ажгихина

ДЕСЯТЬ РАССЕРЖЕННЫХ ЖЕНЩИН

Конференция в Нью-Йорке оказалась, может быть, одним из самых ярких событий моей жизни. Помимо того, что мы — десять молодых женщин-писательниц — только что издали первый в России сборник женской прозы «Не помнящая зла» и сразу же следом сборник «Новые амазонки», мы ещё и создали группу с тем же названием. Она себя обозначила в теоретическом и литературоведческом плане в двух своих манифестах — предисловиях к сборникам.

Но мы, конечно, были скорее практики: все окончили Литературный институт имени М. Горького, где на творческих семинарах (прозы, поэзии, драматургии) нас хвалили, считалось, что мы все очень талантливы. Но когда после института начали ходить по редакциям журналов и издательствам в надежде опубликовать свои рассказы, повести, романы, оказалось, что их не печатают. Причём мы столкнулись с настоящей дискриминацией.

Один редактор, молодой парень, с которым я ещё совсем недавно училась в Литинституте, получив место в журнале, выговаривал мне: «Твои опусы никогда не будут напечатаны, потому что это «бабья» проза, в которой описывается что-то ужасное, патологическое, все эти ваши роды, аборты и месячные... Этот ваш так называемый женский опыт никому неинтересен, он не будет востребован читателем. Никогда!»

После нескольких таких унижительных отказов я случайно в Центральном доме литераторов встретила Ларису Ванееву, тоже окончившую Литинститут. Она поведала мне и о своих столь же безрезультатных хождениях по редакциям, и о сексистских речах редакторов. Тут же было решено вступить в противоборство: собрать лучшие тексты авторов-женщин — собрать и представить миру, показать человечеству, что есть такая женская литература!

Нашли прогрессивное перестроечное издательство «Московский рабочий» и договорились с редакторами-женщинами об издании сборника женской прозы «Не помнящая зла». Он вышел в 1990 году и состоял из рассказов десяти авторов, «десяти рассерженных женщин»: Ларисы Ванеевой, Светланы Василенко, Светланы Васильевой, Галины Володиной, Нины Горлановой, Натальи Кореневской, Валерии Нарбиковой, Ирины Полянской, Елены Тарасовой и Нины Садур.

На другой день все мы буквально проснулись знаменитыми: о сборнике написали в «Литературной газете», и известный критик Павел Басинский нас просто уничтожил. Тогда главная писательская газета была довольно авторитетной, да и время ещё советское. Любое негативное упоминание о писателе и его творчестве в «Литературке» могло сильно навредить как автору, так и издательству.

Но в следующем номере мы неожиданно-негаданно получили поддержку из Америки от переводчицы и литературного критика Елены Гессен (матери журналистки и писательницы Маши Гессен). Она защитила нас, авторов, и особенно Елену Тарасову, повесть которой дала название всему сборнику «Не помнящая зла», — ей больше всех и досталось от Басинского.

А сразу же следом нас пригласили на весьма необычную конференцию «Гласность в двух культурах», посвящённую творчеству русских и американских женщин-пи-

сательниц, которая проходила в Нью-Йорке весной 1991 года. Мы думали, что изобрели женскую литературу, однако убедились: она существует не только в России. И не просто существует, но даже процветает — в Америке в частности.

Для меня лично поездка в Америку была большим испытанием. Я родилась в Астраханской области, детство провела в маленьком секретном ракетном городе Капустин Яр и там осенью 1962 года пережила Карибский кризис. Многие мои сверстники его, может быть, даже не помнят. Но мы-то оказались свидетелями и даже участниками. Помню, домой пришёл отец и сказал, что завтра начнётся конец света. Попрощался со мной и мамой и уехал на ракетную площадку.

А нас, детсадовцев, вывозили в степь, чтобы таким образом спасти от ядерного удара по городу. Но воспитатели между собой шептались, что всех нас в эту ночь убьют американские ракеты, а потом по Америке ударят наши ракеты и уничтожат её. Одна из воспитательниц восторженно твердила нам, мол, бояться не надо: если нас и убьют, то мы станем героями, как Павлик Морозов, как Володя Дубинин... Всю ночь мы сидели в холодной полынной степи, смотрели на звёзды и ожидали оттуда смерти. Было очень страшно. Ехать в страну, которая намеревалась тебя совсем юной убить, — то ещё испытание...

Позже в США я встретила американскую поэтессу по имени Мэри, которая рассказала, как она в 1962 году испытала то же самое. Так же её папа поехал к ракетам, а они с мамой спрятались в бомбоубежище. Он позвонил и попрощался с семьёй, сказал, что сегодня начнётся конец света... Почти зеркальное отражение произошедшего со мной, вплоть до деталей. Разве что не было в нашем городке никаких телефонов и бомбоубежищ, и прятались мы в степи. На меня это произвело сильное впечатление — о

Карибском кризисе и сидении детей в ту страшную ночь в степи я написала в своём романе «Дурочка», а потом и в повести «Город за колючей проволокой».

Перед посадкой в Нью-Йорке самолёт долго кружил над городом — не выходили шасси, но мы-то этого не знали и посчитали, что Нью-Йорк нас как бы не принимает. Действительность поспешила опровергнуть это предположение.

Первое, о чём спросила встретившая нас декан факультета: «Кто хочет остаться?» Мы напряглись, а она добавила, что пока идёт конференция, всё успеют оформить (тогда приехавшим из СССР и попросившим убежища в Америке очень быстро предоставляли гражданство).

Впрочем, никто из нас остаться в Америке не пожелал.

Я была не то чтобы не выездная, однако мне передали, что один из секретарей Союза писателей СССР сказал, дескать, не надо брать Василенко, она что-нибудь там ляпнет. Однако как-то обошлось.

Я отправилась вместе с «амазонками» Ларисой Ванеевой и Валерией Нарбиковой. Отдельно прилетели журналистка и прозаик Надежда Ажгихина; писательница, жена известного поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская; поэтесса Олеся Николаева, критик Наталья Иванова; филолог, автор работ о творчестве Тэффи Елена Трубилова. С журналом «Преображение» (он позиционировал себя как женский и феминистский) приехали бизнес-вумен, спонсор женского клуба и журнала Диана Медман; феминистка и философ Татьяна Клименкова, поэтесса Саша Козырева, литературовед и критик Елена Трофимова, прозаик Ольга Татаринова. В работе конференции участвовала и известная писательница Татьяна Толстая.

Конференция проходила в огромном зале, поразили огромное количество людей и очень праздничная атмосфера.

сфера. Было много интересных докладов о творчестве женщин-писателей, но более всего запомнилось выдающееся выступление Натальи Ивановой о творчестве Людмилы Петрушевской.

Случалось немало смешного. Например, помню, Татьяна Толстая, разгуливая с микрофоном по залу, очень долго говорила на английском языке об истории России, о Петре I и его реформах — такой ликбез для американцев, чтобы рассказать, откуда мы приехали. Или: одна русская поэтесса читала стихи, а потом, узнав, что сидит рядом с американской поэтессой, представительницей ЛГБТ, с возгласами негодования отодвинула свой стул подальше, а потом убежала со сцены.

Конечно, нам, «новым амазонкам» не хватило времени выступить, но мы все перезнакомились. Подружились с переводчицей Памелой Паркинс (ходили к ней в гости с Надеждой Ажгихиной), Татьяной Толстой и профессором Еленой Гоцило, американской слависткой. Помню, что поднимались в квартиру на старом допотопном лязгающем лифте. Боялись, что кабина застрянет между этажами. В квартире Памелы нас ждала огромная пицца.

После конференции на десятилетия завязались творческие отношения, установились тесные литературные связи. Маша Гессен перевела на английский язык рассказы из сборника «Новые амазонки»; Елена Гоцило со своими студентами — книги, мою и Валерии Нарбиковой, которая потом часто бывала в Питтсбурге у Елены. А я по рекомендации Елены ездила два раза в творческую резиденцию, где начала писать роман «Дурочка».

Мы стали участвовать в творческих проектах. Американки часто бывали в Москве. В их числе племянница Набокова Марина Викторовна Ледковская, с которой я и Елена Трофимова проводили много времени в разговорах о

литературе и писателях, сидя в людном тогда «нижнем» буфете ЦДЛ.

Тогда же мы — каждая по-своему — открывали для себя Америку, какой она была в 1991 году: её танцующий ритм жизни, шум океана, огни Нью-Йорка. Ходили по Бродвею, ездили на Брайтон-Бич, посещали музей «Метрополитен», тряслись в нью-йоркском метро, плавали в бассейне в общаге, где я жила в трёхметровой комнатке с приваренной к полу кроватью, гуляли по Центральному парку, прокатились на пароме «Стейтен-Айленд Ферри» от Манхэттена до статуи Свободы, встречались со священниками Русской православной церкви за границей и с русскими старушками, живущими при церкви, были в гостях у наших эмигрантов и ели там ещё по советским рецептам приготовленное пирожное «корзиночка», фотографировались в китайском квартале, ночью сидели у океана, слушали его могучее дыхание и говорили о философии любви с философом Татьяной Клименковой и Еленой Трофимовой. Помню слова Татьяны, что после большой любви и после тяжёлой болезни вырастает, как дерево, наша человеческая душа... И живое дыхание океана словно подтверждало её слова.

Через неделю после конференции мы улетали домой в Россию. Но несколько человек решили остаться в Америке ещё на неделю, для того чтобы послушать в Колумбийском университете Иосифа Бродского. Он тогда был жив, русские писательницы — «амазонки» с ним общались.

Что же касается дальнейшего международного взаимодействия, я бы предложила польско-немецкий опыт, который знаю по себе, участвовала в таких проектах. Издатель определяет тему для написания эссе или рассказа — скажем, об исчезнувшем городе. Я написала о Капустинном Яре; норвежцы, немцы, поляки — каждый про свои го-

рода. Получился очень интересный сборник, который перевели на разные языки. А потом нам, авторам, издатели устроили путешествие по разным городам стран, которые перевели эти рассказы, и мы общались с писателями, читателями, обсуждали самые разные темы. Это были не литературоведческие, а творческие встречи писателей с читателями, которые очень важны.

Сейчас мы используем этот опыт при издании сборников женской прозы. Например, наш сборник «Дочки-матери» посвящён теме отношений матери и дочери, сборник «Русский женский Декамерон» — женской телесности, «Новости женского рода» — современной женщине в современном мире, сборник «Память женского рода» — судьбе женщины на фоне исторических событий.

Сегодня живая и интересная славистика вдруг переместилась в Китай. Несколько проектов мы сделали и делаем с китайским Чанчуньским университетом и китайскими писателями — «Проза из России — проза из Китая». Издали два совместных сборника на русском и китайском. Готовим к печати сборник рассказов русских писательниц «Дочки-матери» в переводе на китайский язык.

Несколько конференций, посвящённых женской прозе, мы провели в Индии, в Университете Нью-Дели. Участвовали в съезде женщин-писательниц — в Индии очень много пишущих женщин. Издан сборник русской женской прозы на хинди.

Выходят сборники русской женской прозы и на европейских языках. Конференции по женской литературе проходили в Австрии, Германии, Италии, Польше, Финляндии, Франции... Но ту первую конференцию в Нью-Йорке я не забуду никогда. Она вдохновила нас продолжить начатое в 90-х годах XX века дело — писать, собирать, издавать и продвигать русскую женскую прозу, новую русскую женскую литературу.

«АМЕРИКАНСКАЯ ПРОПАГАНДА ВО МНОГОМ ПОХОДИЛА НА СОВЕТСКУЮ»

**Беседа с Еленой Гошило,
профессором Университета Охайо**

— Ты стала одним из первых исследователей современной русской литературы, первым исследователем творчества женщин-писательниц ещё до перестройки, когда все вдруг заинтересовались Россией. Расскажи, какова была атмосфера в университетах. Что вообще американцы думали о Советском Союзе, когда ты училась в аспирантуре?

— В 60–70-х и в начале 80-х американцы смотрели на Советский Союз с большим подозрением. Вот пример: моя близкая подруга, однокашница по колледжу Лидия Полушкина, поступив в Гарвард, зашла к книжный магазин на кампусе. Хозяин заговорил с весьма симпатичной девушкой, поинтересовался, что она изучает, и, услышав в ответ: «Русскую литературу», изумился:

— Не может быть!

— Да, именно русскую литературу.

— Но тогда надо изучать русский язык.

Лидия рассказала, что у неё русские корни, родители из России. Тогда хозяин позвал жену и сказал: «Посмотри, она русская и выглядит совершенно нормально. Как ты и я».

Я думаю, это было довольно типично. Американская пропаганда во многом походила на советскую, и люди верили, что русские если и не ходят с двумя головами, то, по крайней мере, сильно отличаются от американцев. Общее впечатление: после 1917 года всё в России складывается ужасно.

В то же время в академических кругах и в интеллектуальной среде в Нью-Йорке было немало марксистов. Джон Стейнбек посетил СССР. Интерес в Советскому Союзу был сродни, я бы сказала, любопытству к порнографии: интересно было посмотреть, как там всё плохо. Об этом писали книги. Красный цвет был символом враждебности. Бытовало выражение «лучше мёртвый, чем красный». Цвет определял твой выбор. Это было то же самое, о чём Замятин написал в 1920 году в романе «Мы», который не публиковали на его родине до конца СССР. Русские были в сознании американцев враждебными и агрессивными, они хотели уничтожить Америку, в том числе их ужасные лидеры и ужасно выглядевшие жёны. Все понимали, что у СССР есть для этого оружие. Конечно, не каждый в подобное верил, но в обществе такое ощущение присутствовало. В то же время, благодаря прежде всего соревнованию в освоении космоса, в изучение России вкладывались средства. Например, когда я училась в колледже, у нас были программы о России — информация, призванная нас защитить.

— Каковы были твои собственные ощущения? По рассказам некоторых моих американских друзей, они просыпались ночью от ужаса, что русские нападут.

— Со мной такого точно не случилось. И не знаю никого, кто так это ощущал бы. Дело в том, что у американцев всегда было чувство собственного превосходства. Конечно,

но, пропаганда работала, но американцы были уверены, что с ними ничего не случится.

У меня, в отличие от многих из них (а я родилась в Шотландии и приехала вместе с родителями в Штаты уже достаточно взрослой), сформировался свой взгляд на проблему. Моя мать — наполовину русская; мой отец был заключённым сталинских лагерей, так что я понимала изначально, что СССР — не друг. В то же время мой отец всегда испытывал интерес и глубокую симпатию к русской культуре, мама любила русскую литературу, читала всё, что попадало ей в руки. Любила «Господ Головлёвых» Салтыкова-Щедрина.

Конечно, большинство американцев не знали русско-го, даже алфавит был необычным.

Помню, как появился «Доктор Живаго». Пастернак стал героем, о нём писали в «Нью-Йорк Таймс» и других газетах. Я любила этот роман, но теперь смотрю на него иначе — думаю, что текст нуждался в редакции. Помимо Пастернака, много писали о Солженицыне, который был из другой категории. Я никогда не думала, что все его последователи за «Одним днём Ивана Денисовича» вещи достаточно и равно хороши, но считаю, он выполнил не-оценимую гуманистическую и политическую задачу. Итак, Пастернак и Солженицын. Но это и всё, кроме этих двух авторов, не было никого.

А потом появилась «Третья волна». Так назывался сборник, ставший результатом конференции «Третья волна» в Калифорнии, которую организовала Ольга Матич. Она собрала довольно много разных людей: принимали участие Пётр Вайль и Александр Генис — они играли важную роль, не только потому что знали многое о России, но и благодаря замечательному чувству юмора и ироническому подходу. Они написали вместе книги «Шестидеся-

тые», «Русская кухня» и много других. Конференция помогла увидеть русских писателей в Америке.

— Довлатов? Бродский?

— Писатели-эмигранты «третьей волны» — Довлатов Бродский, Алешковский, Лимонов — публиковались в Америке, прежде всего благодаря издательству Ardis в Энн Арборе, основанному Карлом Проффером. Они с женой Элендеа бывали в России и стали издавать писателей, которых не печатали в СССР. Выпускали и книги Гумилёва, Ахматовой, Цветаевой, Замятина, много оригинальной русской литературы, а также переводы. Там же был опубликован роман Лимонова «Это я, Эдичка», что стало прорывом. До этого современную русскую литературу очень мало переводили — прежде всего потому, что издатели не хотели печатать советские вещи. Карл и Элендеа были очень увлечённые люди, работали, как я помню, в подвале своего дома, им помогали студенты. Молодые переводчики Роналд Майер (он сейчас редактирует журнал Гарримановского института) и Дэвид Лоу. Я тоже переводила, но не была на полной ставке, так как довольно быстро получила место преподавателя и больше всего любила работать со студентами. Среди авторов издательства были Саша Соколов, Аксёнов, Довлатов, который мне всегда нравился своей иронией. В Нью-Йорке сейчас есть улица его имени.

— Что можно сказать о студенческих обменах?

— Они существовали, как и возможность подать на грант для поездки в рамках программ IREX, то есть у американцев шансы были. Однако не помню, чтобы в программах обмена принимали участие студенты из СССР.

Русские писатели преподавали в колледжах: Аксёнов — в Вашингтоне, Бродский — в Куинс-колледже. Евтушен-

ко приезжал читать лекции — он был, что называется, разрешённым псевдодиссидентом, хотя его, кажется, привлекало не столько преподавание, сколько возможность выпить шампанского в компании и пофлиртовать с девушками.

— Как вообще преподавали русскую культуру, литературу?

— Прежде всего, курсы о России были очень консервативные: Толстой, Достоевский, Пушкин, Лермонтов. Очень мало кто из преподавателей работал с советской литературой. Морис Фредберг написал книгу о советской цензуре, но ею в основном и ограничился. Встречались хорошие специалисты, но их не интересовала современность: Эдвард Браун, русский эмигрант Глеб Струве в Калифорнии, уникальная фигура Набокова — все знали, что он ненавидит советскую литературу даже больше, чем Достоевского. А Достоевского он ненавидел, думаю, за то, что тот наверняка точно понял бы его собственный психоз. Набоков преподавал в Корнельском университете, когда писал «Пнина», и ещё в других местах на восточном побережье.

В результате всего этого, когда наши студенты приезжали в СССР, они знали прежде всего о традиции и шли первым делом в Пушкинский дом. Там, в свою очередь, не столько готовы были помочь американцам освоить традицию, сколько радовались сигаретам, духам и другим сувенирам, сопутствовавшим общению. Однако среди студентов находились и любопытные, «передовые», которые хотели по-настоящему узнать страну.

— Когда ты первый раз приехала в СССР? Как это происходило?

— Первый раз — когда ещё была британской гражданкой, в 1972-м, в составе «Американской полевой службы» — по названию медицинского отряда периода Второй мировой войны.

Мы ехали преподавать английский язык. Было это так. Позвонила моя подруга по колледжу Лидия: «У тебя наконец появилась возможность поехать в Советский Союз». Кто-то из группы заболел и отказался, появилось место. Я только начала работать над диссертацией и получила стипендию, но упустить шанс не могла — мне было просто необходимо поехать!

Помню, я прошла интервью на русском. Всё было очень странно, нам даже не сказали, где будем жить и кому преподавать. Мы побывали в Киеве, Москве, Петербурге и снова в Киеве, который с тех пор очень люблю. И сейчас помню его запахи и краски, это стало одним из самых счастливых моментов в моей жизни. Помню, меня поразило, что в Киеве было больше еды, и она оказалась лучше, чем в других городах.

В то время в Киеве жил Виктор Некрасов. Мы подружались с одной из преподавательниц, Нелли Полищук, она много рассказывала мне о Некрасове. Конечно, за нами следили, и один из наших гидов, Сергей, был, несомненно, стукачом.

Но прекрасные студенты оставались прекрасными! Помню, что все они хотели выучить тексты из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Был, например, Алексей Сологубенко, который знал английский лучше всех советских преподавателей. Я приходила в восторг от киевских музеев, мы с Алексеем обсуждали Врубеля, которого я обожаю, он повёл меня на Подол к церкви с интересной росписью. Тут-то ему и позвонили, посоветовав никуда меня не приглашать, иначе он никогда не сможет поехать

за границу. Через много лет Алексей стал работать в «Би-Би-Си».

А у другой замечательной студентки, Вали Харченко, отец служил в КГБ, и ей позволяли приглашать меня в разные места, это было в порядке вещей. Тогда же, к слову, я первый раз отравилась пищей.

Как бы то ни было, начиная с этой поездки я поняла, что надо быть очень осторожной, и каждый раз неизменно испытывала напряжение. Знала, что за мной будут следить, даже если я одна и иду очень быстро, никогда не звонила знакомым из гостиницы, только из телефона-автомата. Приезжая в СССР, я больше всего боялась навредить кому-нибудь из знакомых и в переписке никогда напрямую не высказывала своих мыслей.

Вскоре после возвращения из Киева я получила первую работу и не часто контактировала с другими аспирантами — участниками обменов. Но поняла, что большинство из них куда менее плотно, чем я, соприкасались с советскими людьми. К тому же, многие ехали в СССР не преподавать, а закончить собственную исследовательскую работу. Тогда в Индианском университете было большое отделение славистики, более тридцати аспиранток. Для сравнения: сегодня в Университете Охайо, где я преподаю, на отделении славистики — лишь от трёх до пяти новых студентов каждый год.

— Что тебя больше всего поразило в СССР?

— Пропась между городской и негородской жизнью. Мы ехали на поезде из Киева в Москву и из Москвы в Санкт-Петербург и наблюдали из окна поезда разницу. Я не предполагала, что она так велика. Увидев дачные домики, полагала, что это туалеты, пока меня не переубедила наш гид. Я выросла на славянской еде, но не могла предположить, что еда может быть столь нездоровой.

Ещё меня поразило, что молодым людям некуда пойти — никаких кафе. Помню, наша студентка с гордостью пригласила меня в какое-то популярное в Киеве место, где можно посидеть и выпить коктейль — и место, и коктейль оказались довольно забавными...

Но несмотря ни на что, я была счастлива в Киеве: там великолепная архитектура, я обожала Киево-Печерскую лавру, открыла для себя книжные магазины и пропадала в них и в букинистических, которые люблю до сих пор. И сейчас уверена, что это чудесный город!

Мы как иностранцы обязаны были есть в ресторане отеля «Киев», где жили, на бульваре Тараса Шевченко. Прекрасный отель, блестящие паркетные полы, которые дежурные постоянно натирали. Но в ресторане было шумно, очень громко играла музыка. Впрочем, некоторым американцам это пришлось по душе.

В Москве меня потрясло, до какого состояния могут себя доводить советские люди: в ресторанах они немедленно напивались и могли заснуть прямо за столом или упасть на пол.

В общем, когда я второй раз отправилась в СССР с группой студентов, то уже знала, чего ожидать. Хотя всё равно случались неожиданности. Один из моих подопечных хотел купить милицейскую форму на чёрном рынке, другой стремился вступить в дискуссию о марксизме с каждым встречным. Ещё у одной была не то булимия, не то анорексия, не то нечто другое — она принимала массу лекарств и боялась оставаться в комнате одна, поэтому мне пришлось взять её к себе ночевать...

— Какой это был год?

— 1974-й. Мы снова поехали в Петербург, Москву и Киев. Чувствовала себя очень странно — как кинозвезда: на улице ко мне то и дело подходили люди, которые спра-

шивали, как пошита моя юбка или где я купила серьги. Появился даже некий ухажёр, какой-то тренер, который следовал за мной по пятам и хотел жениться — то, что я американка, его не останавливало. Ещё я некоторым напоминала актрису, не помню уже какую: на улице меня останавливали со словами «Извините, девушка, вы не?..»

Больше всего я наслаждалась в России архитектурой. Я выросла в Англии, недалеко от римских развалин и реки Эйвон, шекспировской реки, и в США мне не доставало старинной архитектуры. В России я впитывала её жадно и радостно. Сходила с ума от церквей. Читаю сейчас книги Уильяма Брумфилда прежде всего потому, что в них много прекрасных снимков церквей.

То, что поражало моих студентов, — уличная реклама, транспаранты, агитация: «Мы движемся вперёд. Слава КПСС!» Детская песня «Пусть всегда будет солнце» — помню её с первого дня в Киеве: один из наших американцев вместе с кем-то из русских стал подбирать мелодию на гитаре, и мы все пели...

Отмечу, что со мной русские довольно свободно разговаривали, мы обменивались мнениями об искусстве. Я не много знала об американской литературе — почти все русские гораздо лучше в ней разбирались. Очень популярной в их среде во время и первой, и второй моих поездок в СССР была повесть «Над пропастью во ржи» Сэллинджера. О ней говорили все, и один студент даже подарил мне эту книгу на русском. Сэллинджер мне показался неинтересным, каким-то подростком, совершенно незрелым автором по сравнению с Шекспиром, с Толстым, с Достоевским. Вот Фицджеральд — это совсем другое. «Великий Гэтсби», на мой взгляд, самый лучший американский роман.

Однако люди то и дело спрашивали меня о Сэллинджере и, конечно, о сленге, «мягком» аналоге русского ма-

та. Убедена, что иностранцам подобную лексику употреблять не следует — они не знают в тонкостях, что она значит и насколько сильное впечатление может произвести на носителей языка.

— Во времена гласности ты подготовила первый сборник современных советских писателей для американской аудитории. Как возникла идея?

— Мы сделали это вместе с коллегой Байроном Линдси. Это его идея, но он понимал, что один не справится. Первым делом мы решили, кого включим, — хотели показать разнообразие, в том числе и стилистическое, а не обычный «дохлый соцреализм». В сборник, который в итоге разделился на две книги, вошли Петрушевская, Толстая, Кураев, Генатуллин, Ерофеев, Маканин, Искандер, Трифонов, Якимов, Шмелев, Тендряков, Кондратьев, Нагибин, Гранин... Интересно было рассказать о тех, кого не знали в Америке.

Двухтомник с биографичекими справками и комментариями выпустило смелое издательство Ardis. Начиная работать с русскими писателями, я не догадывалась, насколько это сложно, как непросто добыть авторские права и так далее.

— Расскажи, как начались твои контакты с писателями, как это происходило в советское время?

— Москва — это большая деревня, где не так трудно найти людей, особенно в писательской среде. С началом работы над проектом книги моя жизнь стала беспокойной. Как только приезжала в Россию, писатели начинали мне звонить с просьбами перевести их. Но я хотела не просто переводить, а представить их американскому читателю — обычным американцам, не славистам. Им эти тексты стои-

ло прочитать, что помогло бы преодолеть обычный американский провинциализм.

Я интересовалась теми авторами, которых в Америке игнорировали. Отчасти потому, что они работали в коротких жанрах. Думаю, именно поэтому не читали Тендрякова, Казакова, Нагибина, и я мечтала написать о них. Они открыли мне, кроме того, понимание природы и мира животных. Первоначально моя диссертация была посвящена собакам в русской литературе — читала «Му-му» и постоянно плакала...

Как бы то ни было, я начала с Нагибина и «застряла» на нём. Собрала цикл его рассказов, интервью, биографию и некоторую критику. А потом посчастливилось лично встретиться — кажется, его пригласили прочесть лекцию на кафедре славистики в Питтсбурге. Нагибину понравилось то, что я о нём написала. Мы вступили в переписку.

Он был женат на женщине много младше себя по имени Алла. Очень хорошо помню наши встречи в Москве. Например, Нагибин привёз меня к себе на дачу, Алла всего готовила, и это было очень мило.

А однажды он пригласил меня в ЦДЛ, в ресторан, где старался показать, какой он успешный и щедрый, — всё было отлично, пока он не напился и не стал жалеть себя. Наговорил мне многое, чего не следовало. К счастью, с ним был водитель, который подбросил меня до дома Инны Варламовой. Я зашла к ней и бросилась в слёзы. Инна испугалась:

— Леночка, что с тобой?

— Мне так жаль Нагибина!

— Вот нашла, кого пожалеть!..

Мы пошли на кухню, она сделала чай, который я вообще-то не люблю, но тогда кофе в Москве был ужасный. Инна попросила рассказать, что случилось. Я начала: мол, он успешный, гений, у него молодая жена, но он так глубоко

несчастлив, чувствует себя отринутым и всё такое... Инна меня не поняла: «Когда мужчина перепил и жалуется, это довольно противно».

Когда сделали книгу, Нагибин был разочарован: понял, заявил он, что вы не считаете меня великим писателем. Помню, я ответила: «Думаю, вы очень хороший писатель, поэтому много времени и сил вам посвятила. Но неужели вы хотите, чтобы я сказала: Нагибин — это второй Пушкин?»

Наши отношения сразу изменились. Мой образ в его мемуарах — это нечто! Эти воспоминания невероятно, до тошноты, желчны.

Но как бы то ни было, это стало важным опытом.

— С Инной Варламовой вы были уже знакомы...

— Да, нас познакомил мой друг Дэвид — однажды в Москве привёл меня к ней в гости. Инна и Дэвид дружили ещё до того, как я стала интервьюировать писательниц.

Почти всё необходимое я в советское время покупала в «Берёзке», ещё был финский «Стокман», куда я нередко заходила, чтобы купить какие-нибудь продукты из тех, что трудно было достать в СССР, для Инны и её семьи. Потом, когда я начала интервьюировать писательниц, поступала так же.

У моих собеседниц в доме почему-то не иссякало шампанское, они неизменно были невероятно гостеприимными, очень дружелюбными, очень добрыми и порой делились столь личными подробностями своей жизни, что я смущалась и никогда не использовала этого в интервью.

Задолго до этого я работала с текстами Ростопчиной и Ольги Форш. Потом, в 1984 году, подготовила том переводов польских и русских писательниц и... стала искать современных русских.

Не забывай, что феминистская революция в Европе началась во Франции в 68–69-м, в 70-х пришла в Америку, а к 80-м феминизм не только вылился в общественное движение, но и стал серьёзной сферой академических интересов в университетах.

В университете Питтсбурга была большая программа женских гендерных штудий в литературе под руководством Мэри Бриски. В основном там шёл разговор об американской и английской литературе, но это меня не оставило. В то время среди славистов гендерные темы интересовали очень немногих: Барбара Хелдт, которая выпустила книгу, Мэри Зирин, британец Джо Эндрю (потом он переключился на XIX век).

Инну Варламову я включила в свой сборник, перевела несколько её рассказов, она позволила даже редактировать текст при переводе — сказала: «Делай так, как тебе виднее».

Галина Щербакова обладала прекрасным чувством юмора, с ней было очень интересно. На прощание подарила мне миниатюрную икону — это произошло ещё до перестройки и, думаю, было отважным поступком.

С Петрушевской всё складывалось иначе — наступила гласность. Я уже перевела «Свой круг» — возможно, это лучший мой перевод — и конечно, хотела с Петрушевской встретиться. Позвонила в ВААП (*Всесоюзное агентство по авторским правам.* — **Ред.**), объяснила и мне дали несколько телефонных номеров. К моему удивлению, она согласилась на встречу немедленно.

В прозе Петрушевской мне нравился её голос, особая манера, совершенно уникальный женский сказ: точка зрения женщины, у которой за плечами ужасный опыт, кажется «желтушной», но в то же время она патетическая, возвышенная.

Помню, она сразу же пригласила меня на очень талантливую премьеру пьесы «Чинзано» в студию «Человек», и я была счастлива, что пошла. Петрушевская любила оперу, что мне очень близко, и сама имела прекрасное меццо-сопрано... При всём том с ней порой было непросто.

Когда я по телефону позвонила Грековой (*И. Грекова — псевдоним Елены Сергеевны Вентцель. — Ред.*), она сказала: «Знаете, Елена, я только что вернулась из больницы и не знаю, как долго мне осталось, но, конечно, встретимся».

Когда я приехала, она выглядела нездоровой, но оказалась прекрасной собеседницей, весьма чётко выражавшей идеи и взгляды. Беседуя с ней, я думала: вот сильная женщина во многих отношениях. Грекова была математиком, имела дело с теорией и рассказывала, как зачастую сложно оказывалось работать с мужчинами, особенно если они знали предмет не так хорошо, как она сама.

Рассказ Грековой «Дамский мастер» был тогда очень популярен. Мне же нравился «Вдовый пароход». На прощанье я спросила, что могу для неё сделать. Она ответила: «Если бы вы смогли достать аспирин, не советский, — мне он нужен для сердца». В «Берёзке» аспирин не нашлось, и таблетками со мной поделился кто-то в посольстве. Когда я пришла к Елене Сергеевне с аспирином, дверь открыл сын: она почувствовала себя совсем худо, и вскоре её не стало. Грекова была очень умной, с редкостно чётким мышлением — тот тип людей, который мне всегда нравился.

С Инной Варламовой мы дружили до самой её смерти. А впоследствии тем, чем была Инна, стала для меня Людмила Улицкая. Каждый раз, приезжая в Москву, я непременно ей звонила.

Уже в перестройку часто встречались с Наташей Перовой, издававшей на английском языке альманах «Глас», переводы современных русских авторов. Она искренне

любила литературу, работала исступлённо, полностью посвящала себя делу — что-то в этом было от самопожертвования. Однажды Наташа спросила, не могла бы я переводить и для неё, но я была очень занята и порекомендовала английского коллегу.

Её журнал я неизменно старалась поддержать, рассказать о нём. Наташа сделала по крайней мере два выпуска о женщинах и один фантастики, который, кстати, оказался для меня очень полезным: в своих курсах, посвящённых фантастике, я использовала книги Наташи Перовой.

В 1992 году я составила сборник эссе, которые перевела, дабы опровергнуть досужее мнение, что «феминизм никогда не придёт в Россию». Павел Басинский написал тогда совершенно идиотскую статью о том, что женской прозы нет. В ответ я подготовила сборник статей о женщинах «Плоды её пера» (Светлана Бойм написала для него прекрасную статью), а в 1995-м выпустила книгу женских рассказов. К тому времени я уже достаточно хорошо знала и Улицкую, и Светлану Василенко.

— Мы познакомились в Москве в 1990-м, когда ты работала над подготовкой первой конференции русских и американских писательниц в Нью-Йорке, которая для многих стала важнейшим событием.

— Очень хорошо эту конференцию помню, её организовала Домна Стэнтон, известная феминистка. Она спросила, кого из женщин-писательниц стоит пригласить, и я предложила несколько имен, в том числе Татьяну Толстую. Добавлю, что в подготовке конференции участвовала также независимая исследовательница и издательница феминистского журнала Мэри Зирин.

— К этому времени ты уже написала о Толстой немало, была главным исследователем её творчества. Как ты на неё вышла?

— Очень просто. Прочитала первые рассказы в «Авроре» и «Новом мире», поняла, что это прекрасно. Потом почитала ещё и захотела об этом писать. Замечу, наш университет выписывал все литературные русские журналы, это давало возможность следить за публикациями Толстой в периодике. Потом появилась тоненькая книжечка её рассказов, и я почувствовала, что это, с одной стороны, возвращение в Серебряный век, а с другой — очень современно. У Толстой редкий дар слова, и в то же время довольно озорное чувство юмора, которое меня невероятно привлекало и восхищало.

На конференцию приехали очень приятные женщины из разных мест. Валерия Нарбикова, Светлана Василенко. Из молодых славистов хорошо помню аспиранток Клер Кавано и Светлану Бойм.

Это была очень странная конференция, потому что американцы совершенно ничего не знали о России. Что-то получилось в результате удачно, а что-то — нет.

— В 1992 году в «Огоньке» состоялась ещё одна важная конференция — о современной культуре. Ты также была среди авторов проекта.

— Григорий Фрейдин из Стенфорда, Кети Кларк из Йелля, Нэнси Конди и Володя Падунов из Питтсбурга хотели создать группу изучения современной русской культуры. Мы стали основой этой группы. И всегда рядом были молодые люди, такие как Андрей Зорин, Миша Ямпольский и многие другие русские. Нашлись деньги, достаточные, чтобы путешествовать...

— Что запомнилось?

— В первое время, и это довольно долго продолжалось, шокировало отсутствие у русских профессионализма: никто не хотел выступать последним, все пытались изменить программу и так далее. Галина Белая руководила российской группой и очень удивилась, что ей не дали прочитать большую лекцию, а просили о более коротком выступлении. Впоследствии, на конференции этой же группы в Лондоне, всё было уже иначе.

Опыт в Москве стал для меня хорошим уроком. Потом, в Питтсбурге и других местах, приглашая спикеров из России, я инструктировала их, как следует обращаться к аудитории: заявив определённую тему, говорите именно об этом; выбирайте темп речи, который слушателям удобно воспринимать, и следите за временем. Я и сама часто говорю довольно быстро, но никогда не частила так, как наши российские участники в Москве.

Но вот, например, Лев Аннинский вёл себя очень цивилизованно, был выдержан и говорил в хорошем темпе. Хотя он, типичный интеллигент, возможно, выглядел недостаточно передовым по представлениям молодых. Кстати, с ними, полными идей, было неизменно интересно.

Соглашусь, что конференция в Москве повлияла на жизнь многих: Ямпольский получил работу в Нью-Йорке, Зорин в Оксфорде, Марк Липовецкий потом переехал в Америку...

— Ярким событием стал круглый стол о феминизме...

— Когда я готовила первую феминистскую лекцию в России, то спросила у своего старшего коллеги в Питтсбурге Марка Альтшулера, всё ли делаю правильно. Он внимательно выслушал, сказал, что это всё очень хорошо, сделал пару замечаний, а напоследок честно признался, что ничего в этом вопросе не смыслит. После выступ-

ления в Москве ко мне подходили люди постарше и советовали оставить тему феминизма — дескать, я для этого... слишком хорошо выгляжу. А нескольким молодым мужчинам и женщинам, напротив, лекция понравилась, чему я немало удивилась.

— После конференции в Лондоне были ещё встречи в США и снова в Москве. Они стали первым результатом перестройки, открытия мира. Что запомнилось из того времени?

— В перестройку и позднее, в 1990-е, меня поражало то, что происходит не эволюция, а как бы продолжается революция, когда люди, переполненные ощущением свободы, готовы совершать и совершают, казалось бы, немислимые вещи.

Помню, на Патриарших прудах открылось прекрасное маленькое кафе «Московские зори», куда я любила приводить американцев: там была очень вкусная, как нигде, еда и особая атмосфера. Так хотелось, чтобы это кафе, одно из первых частных, стало успешным. И что же? Перестройка закончилась новой советизацией, и «Московские зори» исчезли — на их месте теперь кафе «Маргарита», одно из тех, каких немало повсюду.

Потом наступили 90-е, и начался хаос — его можно охарактеризовать и как «плодотворный хаос». В том смысле, что люди осознали свои возможности и активно принялись за дело. Например, в начале того десятилетия возникли киоски, в которых за бесценку продавали хорошую парфюмерию и другие вещи. И я всё время спрашивала себя: могу ли я это покупать? С одной стороны, купил, я оставлю деньги в этой стране, поддержу её; с другой — неловко было забрать у продавца дорогую вещь, уплатив столь мизерную цену...

Никогда не забуду площадь у Киевского вокзала, где между людьми происходил тайный и довольно подозрительный обмен одних вещей на другие, и ещё цыганок, с детьми, которые среди бела дня обступили меня с агрессивным предложением погадать...

Одновременно было очевидным, что кто-то в России стремительно и непомерно богатеет, пока другие живут в нищете. Павел Лунгин очень хорошо показал это в фильме «Олигарх».

— Именно в 1990-х встречи и сотрудничество русских и американцев стали постоянными и продолжают до сих пор. Многие иллюзии исчезли. Что ты об этом думаешь?

— Сейчас совершенно другая жизнь. Америка уже не кажется многим «градом обетованным» — представление, навеянное кинематографом. «Гарвардские мальчики», в свою очередь, не сумели сделать Россию раем. Русские правы, когда считают, что американцы в Россию пришли в 1990-х не только бескорыстно помочь — многие стремились также и заработать.

— Ты веришь, что сотрудничество русских и американских интеллектуалов, исследователей ещё раз поможет людям заново увидеть друг друга, как это было в перестройку, приблизить будущее без ненависти и предрассудков?

— Да, верю.

Беседовала Надежда Ажгихина.

Марина Тёмкина

КТО ПИШЕТ КНИЖКИ, ТОТ МОЕТ ПОСУДУ

Отозвавшись на просьбу Надежды Ажгихиной написать об атмосфере, в которой проходила конференция российских и американских женщин-писательниц весной 1991 года в Нью-Йорке, я не могу претендовать на абсолютную точность воспоминаний о событиях тридцатилетней давности. В дневниках того года записей о конференции нет. Скорее всего, программа с именами участников хранится в моём архиве, а на программе — записи от руки, которые я обычно делаю во время конференций. Но искать их и тем более отыскать в данный момент невозможно.

Главный вопрос: кто пишет эти строки? Вернее, кем была я в 1991-м? К тому времени я прожила в Нью-Йорке почти дюжину лет. Конференция состоялась весной, вслед за ней наступили августовские события у Белого дома, когда я впервые пожалела, что уехала и не могу принять непосредственного участия в сопротивлении властям. Сдалась и купила телевизор, чтобы хотя бы так эти события не пропустить.

Я уже успела поработать фрилансером на «Голосе Америки» и радио «Свобода» и издать две книги стихов во французском издательстве «Синтаксис». Кроме того, ещё в начале 1980-х Иосиф Бродский попросил меня заменить его в ПЕН-клубе, сказав, что ему надоело проводить ликбез. Я начала заседать в комитете «Замолчанные голоса»,

который занимался проблемами цензуры и арестованными писателями. Среди них были и наши советские-анти-советские: Ирина Ратушинская, Михаил Мейлах, Константин Азадовский.

Ликбез среди американской творческой интеллигенции удавался мне плохо. Убедить кого-либо в том, что бесплатное образование с яслями и детскими садами и медицина с бесплатными абортами и оплачиваемыми больничными листами — всё это было на чудовищном уровне, оказалось задачей невыполнимой. Главное же, что наличие этих «бесплатных сервисов», по моему мнению, не должно было заслонять ни крошечную бедность всего советского населения, ни многомиллионные человеческие потери.

К моменту конференции я уже три года проработала переводчиком в еврейском агентстве, помогавшем на первых порах новоприбывшим иммигрантам из Союза. Это была так называемая третья с половиной, или перестроечная, волна эмиграции, и мне хотелось помочь соотечественникам.

Уехав от всего нашего бесплатного, я долго преодолевала культурное различие — возможно, делаю это до сих пор, но уже в обе стороны света. Мы-то точно знали, что жили за железным занавесом...

На Западе, в предположительно свободном мире, люди были не менее подвержены манипуляциям пропаганды, в результате которых их представления об СССР находились в диапазоне от «империи зла» до «социалистического рая». От многих милых американок я слышала, что после просмотра фильма «Доктор Живаго» им казалось, что в прошлой жизни они были русскими...

И, конечно, меня потрясали люди типа Аллена Гинзберга, убеждённого, что в России существует беспрецедентная государственная поддержка художников, поэтов и писателей: их печатают астрономическими тиражами,

они получают баснословные гонорары, имеют дачи и путешествуют по миру. Эта фантазия возникла у левых (и разных) американцев неслучайно. Их убедила хорошо спланированная советская пропаганда: из СССР за рубеж высылали санкционированных «либералов» — считанных авторов, которым дозволялось выезжать и публиковаться на Западе.

При первой встрече Аллен спросил меня, что я думаю о Евтушенко, и я ответила: «Ничего».

— Почему? — удивился Аллен Гинзберг.

— Он не занимает мои мысли.

— Напрасно, — огорчился Аллен, — он такой борец за мир, не пропускает ни одной мирной конференции.

Сказанное выше имеет прямое отношение к моим впечатлениям от конференции 1991 года — это восприятие эмигранта/иммигранта. К тому моменту я хорошо понимала, что положение поэта-иммигранта поставило меня в ситуацию различия культур со всеми преимуществами и недостатками такого сознания, и это навсегда. По сути, это личностный конфликт, не говоря о его сугубо лингвистическом аспекте. В зависимости от того, как ты этот конфликт разрешаешь, он может оказаться даже продуктивным. По крайней мере, для меня это было в значительной степени так — пришлось повзрослеть и демократизироваться. Убеждения, привезённые в эмигрантском багаже, например, что моё сознание — «чувство равенства со всем живущим» — демократическое, давно испарились.

Надо сказать, когда человек, вроде меня, пересекает американскую границу со статусом беженца-иммигранта, происходит удивительная метаморфоза: его перестают воспринимать как аутентичного представителя культуры. Особенно в академии: раз он уехал — значит, против родной культуры. Поэтому его нельзя принять на работу в университет даже преподавать русский язык. А пригласить на

такую должность лучше «аутентичного» официального представителя советской академии и платить ему немалые деньги.

Единственная возможность вернуться в статус аутентичного представителя культуры — окончить аспирантуру, защитить диссертацию, то есть пройти через трансформацию окультуривания. Отмечу, в этом американцев можно понять. В конце концов то же самое происходило и происходит с врачами и представителями большинства других профессий.

Тут будет к месту отдельный рассказ о том, каким образом мои отношения с аспирантурой долго не складывались, хотя в начале жизни в Америке я подумывала внедриться в академию. Это довольно характерная для иммигранта история. Совершенно не жалею, что не стала профессором-славистом, тем более — что избежала опасности стать академическим поэтом. Впрочем, в размышлениях подобного рода есть некий атавистический элитизм, которого давно бегу. Наверное, я могла бы неплохо преподавать креативное письмо, но об этом в другой раз.

Тем не менее поначалу меня интересовали конференции славистов. В 1981 году замечательная славистка и тонкий человек Катя Непомнящая делала презентацию об Андрее Синявском в Колумбийском университете на конференции «Современная русская литература — одна литература или две?». Вопрос «одна или две?» и сейчас до некоторой степени актуален (или опять становится?). Катя впоследствии написала биографию Андрея Донатовича.

На конференции она рассказала, что спрашивала мнение о книге «Прогулки с Пушкиным» своих коллег и знакомых в России и что многие этой книги не читали, а из тех, кто читал, ни одному книга не понравилась.

На всякий случай напоминаю: то было время густых тоталитарных брежневских бровей, а книга была написана

автором в лагере и ещё долго не издавалась в России. Опрашиваемые Катей коллеги и критики попросту не могли положительно высказываться о подобном тексте и отвечали «как надо».

Вполне пушкинское трагическое недоумение меня не покидало: как можно не учитывать факторов несвободы и страха, влияющих на людей в России, особенно если ты славист. Ведь учили же их, славистов, что в СССР тоталитарный режим и что «Прогулки с Пушкиным» — книга запрещённая.

Когда началась часть вопросов-ответов, мне пришлось встать и сказать, что не знаю ни одного человека, которому бы не понравились «Прогулки с Пушкиным». Получилось, что я оспариваю утверждения профессора. Поскольку такое случалось со мной часто, у окружающих сложилось мнение, что я каждый раз устраиваю скандал на конференциях. Кажется, последний раз я выступала в защиту основавшей тогда «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой от старого литературного истеблишмента — редакторов толстых журналов, называвших себя «осколками империи», на этот раз совковой.

С Катей Непомнящей мы впоследствии подружились. Она пригласила меня на лекцию-перформанс под весёлым названием *Russian-Jewish-Female Poet in Perpetual Identity Crisis* в женский Барнардский колледж Колумбийского университета. После окончания моей стипендии Фонда Ревзона в этом университете Катя, в то время директор Института Гарримана, пригласила меня на год как *visiting scholar* продолжить исследование истории русской еврейской общины для «Архива еврейской истории».

В 1991-м, в год конференции, в моей личной жизни наступил этап *the new beginning* — нового начала. Уйдя от мужа после продолжительного первого брака, я твёрдо решила дальше жить одна, но продержалась недолго —

позволила себя уговорить и попала в другой тип гендерных отношений. С французским скульптором мы встретились в доме творчества в Калифорнии и через год сделали вместе книгу художника. Партнёрство стимулировало нас обоих и в то же время представляло собой золочёную клетку романтической любви, в сотворении коей я сама принимала активное участие, несмотря на то, что сама концепция романтической любви была давным-давно развенчана.

Трудность любви заключается в том, что приводит человека, и чаще именно женщину, к раздвоенности. Хочется «быть вместе» и в то же время необходимо не раствориться, не быть поглощенной партнёром, отстоять свою автономность, своё время и зарабатывать на эту независимость, чтобы продолжать писать.

В результате этого внутреннего конфликта я оказалась на грани нервного срыва — пришлось пойти к психотерапевту. К тому времени я уже серьёзно интересовалась психологией и психоанализом. Это вновь к вопросу, кем я была в 1991-м, во время конференции, на каком уровне жизненной практики находилась и как пришла к феминизму. Так вот, тогда я только продвигалась к осознанию гендерных различий.

В начале 90-х в Нью-Йорке трудно было найти женщину, которая не являлась бы феминисткой — феминизм, что называется, витал в воздухе. В университетах начали создаваться программы и курсы по гендерной теории. Существовал обширный перечень переведённых на английский произведений женщин-философов и женщин-писателей, начиная с Симоны де Бовуар, чтение которых приносило огромную пользу.

Стало очевидным, что не только подход Симоны де Бовуар, изложенный во «Втором поле», правомерен, но и что идеи экзистенциализма родились в её с Жан-Полем

Сартром обсуждениях, при её активном соавторстве. К 90-м годам идеи экзистенциализма растворились в культуре, стали как бы незаметны в результате коллапса индустриальной эпохи, напора идей постмодернизма и новых технологий, тогда как книга «Второй пол» продолжала набирать популярность.

Интеллектуальный дискурс теории феминизма был уже довольно широк, что позволило ей начать претворяться в самую разнообразную практику. Мои младшие подруги, учившиеся в университетах Америки, прошли школу феминизма на школьной скамье и зачастую одновременно получили опыт однополого секса. Я уже рассказывала в разных интервью, что вопрос: «Кто ответственен за твой оргазм?» — тогда никого не шокировал, а группы, где женщины учились мастурбировать и узнавать своё тело, стали делом распространённым и совершенно привычным.

Почти сразу после приезда в Америку я стала выписывать *The New York Review of Books*, журнал высоколобый и, по общему мнению, консервативный, но для меня тогда — в самый раз. В нём роль женщины в социуме уже обсуждалась в другой перспективе, переинтерпретировались традиционные патриархальные подходы. В прессе стали нормой статьи и исследования об инцестах, изнасилованиях и всяческих абьюзах, физических, сексуальных, эмоциональных, вербальных, экономических. Были написаны биографии знаменитых женщин, в том числе писательниц. Например, Мэри Шелли, которая публиковалась под именем своего мужа, и поначалу лавры доставались ему, или похожая история Колетт. Подверглись критическому анализу бывшие «истерички» и «сумасшедшие» (от запрятанной на чердаке «безумной» жены Эдварда Рочестера из «Джейн Эйр» до реальной жены Фицджеральда, талантливой журналистки, конкуренцию с которой он не выдержи-

вал), обезумевшие от сожительства с тяжелейшими мужьями и безысходности своего положения в браке.

У поколения художников, создавших абстрактный экспрессионизм, большинство жён были одарёнными художницами, но их творческая энергия в основном уходила на то, чтобы помочь состояться своим мужьям. И я собственный первый брак прожила в точности по этой модели. В ходу была феминистская шутка: «Каждой нужна жена».

Поначалу я и сопротивлялась феминизму, и пыталась его постигнуть. Вопросов на гендерные темы, накопившихся в России, в семье и социуме, и привезённых с собой в багаже иммигранта, у меня оказалось предостаточно. В начале жизни в Нью-Йорке для этих живущих внутри вопросов не находилось языка, они тревожили, но были ещё недостаточно ясны, не до конца сформулированы.

Я знала на практике, что советское равенство, в том числе полов, являлось фикцией, как и остальной «коммунизм». Почти сразу стало очевидно, что здесь, в Америке, отношения между полами другие, но в силу советского опыта и американский феминизм не хотелось принимать на веру. К тому же полтора года, проведённые перед приездом в Америку в Австрии и Италии, убедили меня, что в Союзе всё-таки был какой-никакой, пусть и однобокий, прогресс в гендерном плане. В той же Вене, например, в 1978–1979-м годах в симфонические оркестры ещё не принимали женщин — считали, что они мешают ансамблю. Про Италию, где меня едва ли не в каждом магазине «незаметно» гладили по худой тогда тридцатилетней заднице, вообще говорить нечего.

Американский культурный атташе в Вене подарил мне учебник об американской жизни на английском. Среди прочего там описывалась жизнь стандартной семьи среднего класса в Штатах: дом за городом, муж ездит в город на службу, жена с детьми дома. На уик-энд муж отпускает

жену поиграть в покер с подругами или заняться чем-то ещё, чем ей самой хочется, — надо же ей, в самом деле, отдохнуть от семьи. А он тем временем займётся детьми и домашними делами. Читая это, я очень веселилась.

Я знала, что в сладкие послевоенные 1950-е годы, когда женщины опять «не работали», вытесненные с рабочих мест возвратившимися с фронта ветеранами, в Америке забеспокоились: что-то не так с женским вопросом. В ответ возникла целая индустрия электроприборов домашнего назначения, от пылесосов до стиральных машин, для того чтобы удержать женщину дома, а семью — в традиционном состоянии. Многочисленные тому свидетельства — в фильмах 50–60-х.

Однако в Нью-Йорке с самого начала приятно удивило, что никто на тебя не тарашится в метро или на улице, никто не идёт, как на таран, знакомиться, не спросив, есть ли у тебя бойфренд или муж. Гостей здесь принимают оба партнёра: гетеросексуальная ли это пара или гомосексуальная, оба готовят, накрывают на стол, убирают со стола. Так же оба занимаются детьми. Мне стало понятно, что в Америке гендерные отношения совсем иные и составляют контраст тому, как жила я и все мои знакомые.

В семьях иммигрантов женщины зачастую первыми находили работу, им не мешал социальный статус. На работе в новой стране их уважали, принимали и поддерживали, а дома это блаженство заканчивалось. Как результат, в общине нашего призыва начались поголовные разводы.

К 90-м годам новые гендерные нормы стали в Америке обыденностью, в соответствии с этим изменились законы, образование, медицина, индустрия и психоанализ. Повсюду постепенно пришли женщины и поменяли реальность. Это живой процесс, до сих пор динамично развивающийся.

Отдельно хотелось бы написать о женских академических группах, которые я начала посещать в то время, — казалось, именно они управляют американской жизнью, интеллектуально и поведенчески. В 80-е годы Америка прошла через эпидемию СПИДа, которая затронула и женщин, и детей. Волонтёры ходили в больницы, чтобы поддержать на руках новорождённых, у которых уже не было родственников. Поднялась волна протеста гейской общины и всех к ним примкнувших против правительства, которое игнорировало эпидемию, уносившую тысячи и тысячи жизней, и не отпускало средств на исследования и создание медикаментов. Сила протестов наглядно демонстрировала, что такое демократия: это когда политики являются слугами народа, а не наоборот.

ПЕН-клубовский комитет «Замолчанные голоса» состоял из женщин-писательниц, искренне желавших помочь, но мало что понимавших в советских реалиях и часто идеализировавших культуру Толстого и Достоевского. Меня они воспринимали как консервативного мастодонта, ибо ни объяснить им толком ситуацию в России, ни изменить их мнение о советском социализме я не умела.

Одной из главных фигур в комитете была поэтесса Шерон Олдс, которую картавивший Иосиф Бродский описывал так: «У неё “ховошенькая мовдочка”» (таков был его стиль в оценке женщин).

Опубликованное в периодике мейнстрима стихотворение Шерон Олдс о том, как они с мужем занимаются сексом, как он помогает ей дойти до туалета и сесть на стульчак, и они — как «два воина после битвы», звучало смело и даже весьма вызывающе. Стихотворение ни за что не удостоилось бы презрительной оценки Ахматовой «это недостаточно бесстыдно», потому что в нём всё было восхитительно бесстыдно и без какой бы то ни было оглядки на общественное мнение. Поэтессу пригласили препода-

давать в New School. Представить себе что-либо подобное на родине было тогда невозможно, невозможно и сейчас.

В такой вдохновляющей атмосфере конференция женщин-писательниц России и Америки, будучи, несомненно, явлением уникальным, не казалась сверхъестественным событием. Коллапс советской власти и последующие политические перемены вызвали в Америке новый интерес к России. Перестройка заговорила женскими голосами. Оказалось, что существует живая человеческая речь, рождённая в посиделках на кухнях, которая сумела раскрепостить дубовый язык советских газет. Появилась женская проза и журналистика. Для российских писательниц открылись границы, пробудилась надежда на то, что они волеются в культурные процессы мира.

Об этом писала Наталия Иванова. Наташа жила у нас, и я, конечно, была рада возможности познакомиться и послушать её. Но вот к возможности взаимопонимания между русскими и американками относилась скептически — помнила себя, начинавшую жизнь в Нью-Йорке и ещё не въехавшую в американский прагматизм. К тому же, чтобы достигнуть взаимопонимания даже с одним человеком, требуется время, порой годы. Так что верила я скорее, что участницы конференции и слушательницы в зале что-то узнают друг о друге и о себе.

Понимала я и то, что ожидания американок увидеть российских феминисток напрасны, что они сродни иллюзиям о советском рае. Гендерная теория и практика ещё не достигли России. В ходе конференции некоторые надежды, конечно, оправдались, завязались личные связи, постепенно начали выходить публикации в журналах и книжки в переводах. Главное, по-моему, то, что интересующаяся публика, благодаря американским слависткам и переводчицам, местной периодике и издательствам, узнали, что в России женщины-писательницы находились

в той же ситуации, что и они сами в недалёком прошлом, — под прессом традиционных мужских установок в культуре, в политике, в быту.

Гендерный дискурс набрал силу и оказался влиятельным глобально, пожалуй, даже превзойдя классовый или колониальный. В ходе этого мирного процесса и сопротивления нормам патриархального общественного порядка личное стало политикой. Что хорошо в Америке, социальные институты здесь структурированы таким образом, что способны принять позитивные изменения и дать возможность развиваться персональной карьере тех, кто в этих изменениях участвует.

Из выступавших на конференции я лучше всего помню Татьяну Толстую: она выделялась из скромно одетой аудитории кустодиевским платьем в ярких цветах и громогласно заявляла, что от тоталитаризма одинаково страдают мужчины и женщины, а феминизм — это о том, кто моет посуду. Пафос, с которым были изречены эти банальности, оказался для аудитории неожиданным. Я, оглянувшись, заметила, как вытянулось лицо Мерилин Хаккер. В кулуарах гудели, мол, вот он, новый русский империализм. И не парадоксально ли, что после этого именно Татьяну Толстую пригласили преподавать в Принстонский университет? Что именно её стали публиковать в *New York Review of Books* и престижной местной прессе. Она же, не разобравшись в реалиях США, писала о жадных американцах, экономящих деньги на купонах в супермаркетах. Собственно, мы в Америке тоже хороши: с ходу покупаемся на громкую самоуверенность и не сильно углубляемся, что именно с этой самоуверенностью вещают. Увы, опыт показывает, что и тогда, и сейчас значительно легче добиться успеха, поддерживая патриархальную традицию и её старые мифы.

Спустя три десятка лет с той конференции думаю, что, не став профессором, я положительно выиграла: сохранила независимость — условие необходимое для поэта, придающее сил. По сути, любой социальный институт заставляет человека сообразовываться с его рамками, играть по правилам, быть дипломатом или «хорошей девочкой». Я каким-то странным образом вообще не подхожу для подобной институциональной роли и сохраняю свободу жить своей жизнью, смотреть на мир не корпоративными глазами, а собственными, пусть, вполне допускаю, и несовершенными. Вероятно, это и называется критическим мышлением.

Я не разделяю мнения, что академическая жизнь не есть реальность. Нет, она именно реальность, параллельная и не без абсурда. Больше всего меня потрясали неуёмные фантазии советологов-кремленологов, которые окончательно исчезли как вид после перестройки, но до этого долго питались лакомыми кусками от академического пирога и морочили головы студентам своими совершенно фантазмагорическими построениями о происшедшем в Кремле. Вот другой пример: только после коллапса советской системы и под нажимом преподавателей из нашей волны в американских университетах студентам перестали читать тексты из советских учебников, например, о Павлике Морозове, которые считали аутентичными русской культуре, причём делалось это без всякого нажима с советской стороны. Или: в первые постсоветские годы трудно было убедить американских славистов, что Украина — это страна со своим языком и богатейшей культурой. Изучали Холокост, а историю Украины, философию и литературу не преподавали в местных университетах — вовсе не желали замечать на карте страну размером с Францию, и могло показаться, будто следовали в этом

советской политике русификации. С тех пор, конечно, многое изменилось в лучшую сторону.

Возвращаясь к собственной ситуации: на английском отдельной книгой мои стихи, связанные с феминизмом и этноидентификацией, ещё не опубликованы. Недавно они произвели некоторый резонанс в России, их наконец прочли. Видимо, это мой возврат к аутентичности.

ПАМЯТИ МАРИНЫ ЛЕДКОВСКОЙ

В марте 1991 года в Университете Нью-Йорка проходила конференция, посвящённая русскому женскому литературному творчеству. С российской стороны принимали участие литературоведы, критики, писательницы. В числе организаторов была профессор этого университета Марина Ледковская, которая в то время начала составлять «Словарь русских писательниц». Примерно за год до конференции я была подключена к этой работе, ведь словник ещё не был завершён, многие статьи предстояло написать.

Энциклопедические издания и справочники являются неотъемлемым атрибутом не только исследовательской деятельности, но и всего культурного пространства в целом. Поэтому появление подобных пособий на книжном рынке всегда вызывает большой интерес. Ведь они не только содержат конкретную (и достоверную, как надеется читатель) информацию, но и отражают её восприятие в текущий исторический период. Для нас, в России, конечно, интересно и то, что создаётся вне нашего отечества, так как позволяет взглянуть на себя со стороны, с непривычной точки зрения. К тому же иностранные проекты порой предлагают иные принципы отбора и систематизации.

К такого рода изданиям можно отнести вышедший в 1994 году в американском издательстве «Гринвуд-пресс» «Словарь русских писательниц» под редакцией М. Ледковский, Ш. Розенталь и М. Зирин. Хронологически этот

словарь охватывает период от начала XVIII века до 90-х годов века XX (от Натальи Долгорукой, 1714 г. р., до поэтессы Анастасии Харитоновой, 1966 г. р.) и содержит более 450 статей, написанных крупнейшими специалистами по русской литературе, как американцами, так и русскими. Среди них Елена Гоцило, Томас Байер, Диана Бургин, Барбара Энгль, Алла Грачёва, Барбара Хелдт, Катриона Келли, Татьяна Никольская, Евгения Путилова, Виктория Учёнова, Евгений Витковский и многие другие. Несомненным достоинством словаря является то, что в него вошли ранее неизвестные читателю имена. Например, представительницы «второй волны» эмиграции Валентина Синкевич и Ольга Анстей. Или «забытые» — Анна Лабзина, Мария Извекова, Ольга Крюкова, Елена Вельтман, Изабелла Гриневская.

Конечно, подготовка и публикация этого издания показали острый интерес западных исследователей к процессам, происходящим в русской литературе и культуре, особенно к новым именам и тенденциям. Словарь знаменует пристальное внимание к женскому творчеству, которое в свою очередь связано с развитием, расширением и углублением, особенно в 1980-х годах, гендерного аспекта культуры. Деконструкция литературного поля, переосмысление роли писательниц в общем потоке словесности, реабилитация незаслуженно забытых имён — всё это вызывало потребность вычленивать из общей жёстко иерархической структуры, где доминировал «мужской» акцент, «женскую» литературу (точнее, произведения, созданные женщинами). Подобный взгляд в литературоведении неизбежно приводит к проблеме с таким понятием, как «литературный канон».

Канон в переводе с греческого — это правило, установление, эстетическая обязательная норма. Соответственно, термин «литературный канон» трактуется двояко.

Его можно рассматривать как архитектонику, то есть как присущие определённой стилиевой эпохе закономерности построения литературного текста, которому предписываются некоторые основные принципы внутренней организации, к примеру правило трёх единств, как в классицизме. Однако существует и иное понимание термина, когда подразумевают существование в общественном сознании некой совокупности авторских имён и произведений, воспринимаемых наиболее адекватными манифестациями культурного континуума в литературе и, шире, — в культуре в целом.

В более широком социальном использовании канон из образца превращается в жёсткое предписание, инструкцию, которая вводит императив в оценку канонического списка. Эти дефинитивные метки не только подсказывают, какое место в литературной иерархии занимает то или иное имя, а через систему образования, прессу, прочие информационные каналы, и в частности через энциклопедии и словари, внедряется в общественное сознание. Как показывает практика, результаты подобной работы оказываются весьма устойчивыми. Если юридический закон постулирует правила поведения, то литературный — правила восприятия и вынесения оценки. Таким образом, канон имеет аксиологический характер, то есть императивно выстраивает оценочную пирамиду.

Рассуждения, дискуссия о литературном каноне, то есть дискурс в целом, всегда напрямую были связаны с проблемой дееспособности женщины в творческой области. Парадоксальной стороной этих обсуждений на протяжении многих веков было осознанное или неосознанное игнорирование того простого факта, что для более-менее объективного сравнения требовались хотя бы относительно равные условия развития обеих сторон. Для любого вида творческой деятельности, даже для относительно при-

митивных форм искусства, необходима определённая совокупность знаний, доступ к которым обеспечивает система начального, среднего и высшего образования. Вот это-то многие века была лишена женщина.

Вспомним, что реально доступ в университеты женщинам был закрыт до конца XIX века. Такого рода манипуляции по признаку пола позволяли из века в век игнорировать или принижать роль и значение писательниц, поэтесс, художниц, в том числе и русских. Евдокия Ростопчина, Каролина Павлова, Елена Ган, Мария Жукова, Авдотья Панаева, Лидия Чарская, Клавдия Лукашевич и многие-многие другие вводились в писательский перечень, в «список», лишь в качестве исторических случайностей, курьёзов, не столько опровергающих, сколько подтверждающих доминирование мужского в творческой сфере. Порочность формулы «необразованность как неспособность к учению» обнаруживалась, когда женщина, благодаря случайности или социальному положению, получала доступ и к образованию, и к широкому общению.

Таким образом, проявляется диалектическая природа канона: с одной стороны, это итог тенденциозного анализа ситуации в интеллектуальной сфере, а с другой — не менее тенденциозная подгонка реальности к выработанной схеме. Список имён из результата мгновенно превращается в основополагающий источник, в культурологический конструкт, степень обязательности которого, иными словами доктринальность, зависит от формы и природы власти.

Характерно, что и информация об авторах женского пола постоянно утрачивалась, каждое новое поколение писательниц оказывалось без исторических и культурных корней, а в ретроспективе литературный процесс представлялся как череда изолированных друг от друга авторов. Это положение вещей препятствовало формированию

нию коллективной идентичности и являлось тормозом для превращения женской литературной традиции в направление. Таким образом, «Словарь русских писательниц» (Dictionary of Russian Women Writers) стал не просто сборником имён и биографий, но и частью большой работы по трансформации канонических списков, без которой невозможно движение к равенству в культуре. Это подтверждается словами профессора М.В. Ледковской: «Целью этого проекта было «разбудить» литературоведов, литературных критиков, равно как и обыкновенных читателей; обратить их внимание на великое наследие, на огромный вклад русских писательниц в отечественную и мировую литературу и культуру. Ведь этот женский вклад нередко нивелируется, вымывается из литературного канона под видом вторичности, некой «неважности», незначительности «женского» в культуре, и это совершенно неверно, что и доказал наш огромный энциклопедический труд. Нам удалось заинтересовать коллег, появилось множество работ по проблеме творчества русских писательниц, антологий, переводов их произведений на главные языки мира. Меняется взгляд на работы, на произведения писательниц, меняются способы анализа текстов, меняется отношение к творчеству женщин, в первую очередь русских. Это обстоятельство радует сердце и даёт большие надежды».

Идейным вдохновителем словаря стала именно Марина Викторовна Ледковская (1924–2014) — доктор филологии Колумбийского университета, известный литературовед. Её энергия, настойчивость, любовь к России и русской культуре позволили этому изданию выйти в свет.

Наше знакомство, дружеские отношения, совместная работа продолжались. Мы вместе участвовали в различных конференциях, конгрессах славистов, семинарах

(Варшава, Бат, Бирмингем, Тампере, Берлин, Стокгольм и др.). В 1992 году она возглавила жюри международного конкурса на лучший женский рассказ, организованного женским клубом «Преображение» и журналом «Октябрь». В итоге в свет вышел сборник «Чего хочет женщина...» (М., 1993). В 1994-м Ледковская вошла в состав жюри по вручению премии «Русский Букер».

Мне бы хотелось чуть поподробнее рассказать о Марине Викторовне Ледковской, сердечно расположенной ко мне и нашей семье, духовно и морально поддерживавшей меня в трудные минуты, верившей мне и в меня. Памятно всё, и за всё я ей очень благодарна.

Родилась она 12 мая 1924 года в Берлине, в семье эмигрантов «первой волны» С.Д. Набоковой и В.М. Фазольта. Среди её предков известные всей России государственные и общественные деятели, литераторы, юристы, военачальники — Епанчины, Фальц-Фейны, Корфы, Святополк-Мирские, Оболенские, Голицыны. Писатель Владимир Набоков, кузен её матери, часто бывал в их доме. Марина — живая свидетельница жизни белой эмиграции в Европе и Америке.

Её увлечение русской литературой началось с детства: научилась читать в четырёхлетнем возрасте, и с тех пор книги стали страстью на всю жизнь. Из этой сильнейшей любви к чтению главным образом и выросло её желание стать филологом. Она увлекалась изучением языков и их историей, неоднократно для совершенствования в языках посещала Францию и Италию. В совершенстве владела польским, белорусским, латынью, немецким и русским, знала и некоторые другие языки.

В 50-х годах семья Ледковских перебралась в Америку, там Марина получила университетское образование, а защитив докторскую диссертацию по Тургеневу, стала профессором Колумбийского университета. В своей кни-

ге «Другой Тургенев: от романтизма к символизму» (1973) она писала о Тургеневе «не реалисте», в то время как литературная критика и на Западе, и на Востоке настойчиво утверждала и утверждает его реализм. В своём интервью Ледковская сказала: «Я попыталась развеять это наваждение. Писала о его «нереалистических» темах и мотивах, о его таинственных рассказах и о том, что он является звеном между романтизмом и символизмом. В этих сочинениях писатель старается проникнуть в иррациональный мир, окружающий и сопровождающий человеческую жизнь. Тургенев меня привлёк своей гармонической, одухотворённой, кристально-чистой прозой, своим мудрым мирозерцанием и своей аполитичностью. Он ратовал за эволюционные изменения жизни людей, а не за революционный взрыв; его идеалистическое умозрение было направлено на мир и согласие. Всё это очень близко и моей душе».

С 1978 года Марина Викторовна стала регулярно бывать в России, и мы почти всегда встречались. В последний раз она с братом, кузенами, племянниками, другими родственниками побывала в Москве и Петербурге в 1999 году в связи со 100-летием Владимира Набокова.

Неумолимое время брало своё, пришли горести: скончался старший сын Александр — регент синодального хора; попал в тяжёлую автокатастрофу внук Николай; появились болезни, очень сильно ослабело зрение. Но, верная своим пристрастиям, она, хотя и с напряжением, с лупой, читала любимую русскую классику: Пушкин, Толстой, Лесков, Островский, Фет, Герцен, Чехов, Фёдор Тютчев. Говорила мне по телефону, что её тянет к мемуарной литературе, воспоминаниям, и добавляла: «Но всего ни прочесть, ни написать не успею». Марина была счастлива получить, как она выразилась, «привет из прошлого», напи-

сала мне: «Очень растрогало меня письмо от 1910 года моего дяди Мити к Лидии Чарской, найденное вами...»

В последний раз мы с ней довольно долго разговаривали 10 ноября. О многом рассказывала она, многое вспоминала, немало расспрашивала о любимой России, о русской, московской жизни...

Скончалась Марина Викторовна Ледковская 25 ноября 2014 года. Сороковины по ней служил митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.

«ХОТЕЛА ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ НЕ БЫЛО»

**Беседа с Эллен Чансез,
профессором Принстонского университета**

— Эллен, к тому времени, как мы познакомились в 1990 году, ты уже бывала в России много раз, написала книги о русской культуре. Почему решила изучать русский язык и литературу?

— Я начала изучать русский язык, потому что видела противостояние СССР и Америки. Хотела что-нибудь сделать для того, чтобы вражды между нашими странами не было, чтобы отношения улучшились. Думала: может быть, я стану юристом или корреспондентом «Нью-Йорк таймс» в Москве. Русским языком начала заниматься в колледже. Уже на первом курсе мы узнали такие слова, как «мировоззрение», читали рассказы Чехова, я тогда написала на русском языке сочинение с точки зрения дерева, учиться было очень интересно. Одновременно я прослушала курс французской литературы.

Почему я испытывала столь глубокую внутреннюю тягу к русскому языку и так хотела улучшить отношения между нашими странами, вообще лучше понять Россию, я узнала только потом. Это семейная история. Моя мама, бабушка и дедушка были из России, из Одессы, уехали после революции. Им пришлось это сделать, поскольку дедушка работал в правительстве Керенского. Мама была

тогда совсем маленькой. Капитан корабля, с которым они смогли договориться (а судно было не вполне легальное), сказал: беру только тех, кто поедет без вещей. Дедушка согласился.

Семья жила в Париже. Дедушка, Керенский и другие писали антисоветские статьи в газетах и журналах. Мама рассказывала, что её родители замечали, как из окон дома напротив за ними наблюдали в бинокль, вероятно, советские шпионы.

Когда Гитлер подступил к Парижу, семья уехала в Америку. Дедушка попал в «список Рузвельта» — тех интеллектуалов, которым Америка предоставила убежище. В США дедушка стал профессором международного права университета Канзас-сити. Они с бабушкой были большими оптимистами, это им помогало. Потом мама познакомилась с папой, и, когда родилась я, как мне потом рассказывали, они решали, на каком языке со мной говорить. Решили, что не по-французски — этому можно и в школе учиться. Мамиными родными языками были русский и французский, папа русского не знал.

И вот мама начала говорить со мной по-русски, чего я, конечно, не помню. Потом она рассказывала, что примерно в два года я на русском говорить отказалась. Много позднее, когда, повзрослев, начала русский изучать, удивлялась, что помню какие-то слова, например «зайчик»...

— Помнишь свою первую поездку в СССР?

— Первый раз приехала в 1964 году. Две недели в Советском Союзе, потом шесть недель — под Хельсинки (студентам-американцам тогда не разрешали оставаться в СССР надолго). Это был маленький финский городок Ярвенпяя, где долгое время жил с семьёй Сибелиус и где осело много русских эмигрантов. Мы учили русский, и один из учителей, кажется, приходился племянником Репину.

В Ленинграде я встретила с дедушкиной сестрой, с которой встречалась впоследствии не раз (она умерла в 1980 году). Дедушка родился в 1886 году. В начале 1960-х, после смерти бабушки, он написал письмо в советское посольство в Вашингтоне и просил разрешения посетить свою сестру в Ленинграде и семью бабушкиных родных в Москве. Разрешение он получил и в 1964 году побывал в Москве и Ленинграде.

Второй раз я поехала в СССР в 1965 году и провела там два месяца осенью и зимой — тогда впервые американские студенты получили возможность учиться в Москве. Нам не разрешили жить в общежитии — разместили в гостинице «Украина», где останавливались дипломаты и сенаторы. Иногда ночевала у московских родственников, но однажды наш руководитель американец сказал, что так нельзя, надо ночевать в гостинице.

В одну из первых поездок (уже с группой школьников старших классов) мы решили организовать нечто вроде протеста на Красной площади — в защиту мира. Выбрали цитату из речи Джона Кеннеди: «Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind», я перевела её на русский (школьники русского языка не знали), и мы, изготовив плакат, направились к выходу на Красную площадь у Исторического музея. Там к нам подошёл милиционер и сказал, что тут, у Мавзолея Ленина, стоять с плакатом нельзя. Я возразила, мол, Ленин был за мир! Русские, которые нас к этому моменту окружили, рассмеялись, милиционер тоже — и оставил нас в покое. Однако на этом наше приключение не закончилось: подошёл человек и попросил спеть рождественскую песню Jingle Bells. Вот вам жизнь! Такое и не выдумаешь!

— Какие впечатления остались от того времени?

— Прежде всего, многие русские оказались очень милыми и добрыми. Нам, неоднократно слышавшим, будто

«все советские — антиамериканцы», стало понятно, что это не так. К нам очень хорошо относились. Конечно, не без любопытства, ведь в то время американцев в Москве почти не было.

Ещё помню, что всё в городе выглядело бесцветным — серое, коричневое, смазанные краски. И повсюду лозунги. Куда ни шагни — «Слава КПСС».

Мы должны были написать в Москве научную работу, и нас пустили в первый зал «Ленинки»: там работали учёные, а рядом мы, студенты, и это тоже показалось очень необычным.

Общаясь с родственниками, я очень много узнала о повседневной жизни в Советском Союзе, о чём в американских газетах не писали: например, что без анестезии проводят аборт, что собакам не делают прививки. Эта жизнь была не похожа на нашу...

Порой случались унылые московские дни со слякотью и грязью на улицах, и при этом необходимо было преодолевать пешком большие расстояния... Но на смену им приходило совершенно иное. На Старом Арбате работали прекрасные магазины «Школьник» и «Букинист». Поражала московская интенсивная интеллектуальная и культурная жизнь, о которой никогда в Америке не писали. Эти личные впечатления, прикосновение к культуре, встречи с людьми оказывались сильнее любой пропаганды. К тому же родителей и дедушку очень радовало то, что я стала заниматься Россией.

Когда я уже прилично знала русский, мы могли с друзьями в Америке ходить по улице и разговаривать на языке, который другие не понимали.

Ты спросила о моих тогдашних впечатлениях, и в памяти возникло множество эпизодов из нескольких поездок. Например, манящий густо-шоколадный запах в окрестностях фабрики «Красный Октябрь». Или то, как иногда,

скучая по дому, я шла в какой-нибудь двор, где сидели бабушки и присматривали за играющими внуками. Слушая детский смех, я думала о том, что детские голоса, пение птиц и музыка схожи во всем мире и что они способны преодолеть и языковые различия, и вообще любые стены, разделяющие страны. Это ощущение было особенно обостренным во время холодной войны.

Помню, как с моим тогдашним бойфрендом, тоже американским студентом из нашей программы обменов, мы шли по Москве и заглянули на совершенно пустую Красную площадь. Поскольку мы собирались к моим родственникам на встречу Нового года, у меня в сумке, помимо тяжёлого русско-английского словаря, лежала бутылка русской водки. Вдруг сумка упала, бутылка разбилась, водка потекла по брусчатке. Я до сих пор храню словарь, который пережил своего рода «крещение» в тот новогодний вечер.

Вспоминается и другой Новый год (дело было в 1980-м, за несколько лет до гласности) — в гостеприимной семье пианиста Лазаря Бермана. Маленькая комната, много народу. Сыграла виолончелистка Наталья Гутман. Потом все слушали пластинку эмигрантского пианиста Владимира Горовица, который тогда ещё не мог вернуться в Россию и сыграть концерт в Москве — это случилось только при Горбачёве. После этого чудесного вечера я с Берманом и его женой связь не поддерживала, а позже узнала, что они эмигрировали в Италию.

Примечательно то, как мы познакомились. Я обратилась с вопросом, когда будут концерты Лазаря Бермана, к администратору в Московской консерватории. Он, к моему изумлению, ответил: «Не знаю, вот номер его домашнего телефона, сами позвоните». На протяжении моих поездок в Россию было много таких моментов, когда многое удавалось, благодаря дружбе, знакомству и просто разговору.

— В середине и конце 60-х в Америке было популярным учить русский?

— И да, и нет. Существовали летние программы поездок в СССР, как те, в которых я участвовала, кстати, на следующий год после Линн Виссон. Русский язык в те годы, особенно после запуска спутника, изучали в колледжах больше, чем сейчас. Государство тогда решило, что американцам полезно знать русский, и неплохо финансировало программы обучения.

Не забывай, что незадолго до этого, в 50-е годы, маккартизм всех русских представлял врагами. Но потом люди осознали, какой мерзавец Маккарти. Многие помнили слова адвоката, который сказал ему: «Наконец-то у вас не осталось чувства приличия». Это стало последней каплей, которая изменила общественное мнение.

— С кем общалась в Москве кроме родных?

— В первую поездку — только с родственниками. Они не боялись, хотя догадываюсь, им было нелегко. Володя, муж моей двоюродной сестры, точно не боялся, хотя жена и её мама постоянно увещевали: «Володя, тише» — и настаивали, чтобы во время моих посещений окна были закрыты. Проблем не возникло, думаю, благодаря дедушке, который открыто обратился в своё время в советское посольство и написал, что хочет повидаться с родственниками. И я всегда писала в анкете, что у меня есть родственники в СССР.

Среди моих друзей были режиссёры, актёр, музыканты, журналисты, биолог, художник и, конечно, писатели и литературоведы. С некоторыми из них я познакомилась в 1979 году, когда в Москве жила Эдит Хейбер, американская исследовательница Булгакова. В 1977-м, попав в Москву по линии культурного обмена «Айрекс», она вышла замуж за грузинского режиссёра Тимура Джорджадзе и осталась

ещё на два года — работала переводчицей в издательстве «Прогресс», потому что нельзя было продлить визу культурного обмена. Потом они с мужем уехали в США.

В Москве я общалась с Эдит и Тимуром и их друзьями, среди которых оказался математик, художник, специалист по французской лингвистике, музыкант и биолог Давид Саркисян. В 80-х он стал режиссёром документальных фильмов и кинокритиком и однажды познакомил меня со специалистом по творчеству Эйзенштейна Наумом Клейманом, тогда директором Музея кино в киноцентре на Красной Пресне. Добавлю, что в 2000 году Давид стал директором Музея архитектуры имени Щусева и боролся с Лужковым, стремился сохранить старые дома в Москве.

Осенью 1980-го — это было не лучшее время в советско-американских отношениях — я как стипендиат программ академических обменов Fulbright и IREX Американского совета научных обществ (ACLS) провела семестр в Москве и в Ленинграде. Как-то раз перед студентами МГУ выступал американский популярный фолк-певец Пит Сигер, известный исполнением песни протеста *We shall overcome*. Нас, американских студентов, пригласили на концерт, даже посадили на сцену. Я заметила, что советский переводчик пропускал те слова и куплеты, в которых содержалась критика Советского Союза.

В Ленинграде я практически каждый день навещала дедушкину сестру — ей было уже очень много лет — и однажды заметила за собой слежку. В другой раз, когда я находилась у неё, постучали в дверь. «Осторожно, Леночка», — шепнула мне родственница. Вошли незнакомые люди:

— Вы из Америки? Наверное, деньги привезли?

— Нет, что вы! — ответила я. — Известно, что в СССР все равны, никто не нуждается.

С этим они и отправились восвояси.

Случались и другие странности: например, малознакомый человек звонил тебе в гостиницу и просил передать книги кому-нибудь из иностранных исследователей, постояльцев этой же гостиницы. Таких ситуаций я старалась избегать.

— Расскажи, пожалуйста, о своих контактах в филологической и писательской среде.

В это время в России интеллектуальная жизнь была очень интересной. Я работала при ИМЛИ в Москве и в Пушкинском доме в Ленинграде, удалось познакомиться с Ясеном Засурским, Галиной Белой, Мариэттой и Сашей Чудаковыми.

Самым чудесным в России было встречаться и разговаривать с друзьями.

Помню наши долгие беседы на даче у Чудаковых: о литературе, русской и американской политике, американской жизни — обо всём. Дачу Саша построил сам, очень красивую, элегантную. Конечно, они оба давали мне советы, что непременно стоит почитать, какие научные работы посмотреть. Ко всему прочему, нам было неизменно весело вместе.

В июле 1992 года мы отправились на поезде в Латвию на Тыняновские чтения (тема моего доклада была «Роль теорий Тынянова в «Пушкинском доме» Андрея Битова») и от Москвы до Даугавпилса ехали в одном купе с Чудаковыми и Борисом Гаспаровым. Тогда уже ввели визы в Латвию, и выяснилось, что в нашем купе с визой была только я. Мы все шутили по поводу того, что, возможно, Саша, Мариэтта и Борис на конференцию не попадут. К счастью, на границе обошлось без проблем.

Незабываемы долгие разговоры на кухне у Галины Белой — о литературе, о жизни, прошлом, настоящем и будущем...

А вот ещё один волшебный момент. Однажды летом во время кризиса мы с Наташей Ивановой и ещё одним писателем (запомнювала его имя) поехали в Абрамцево, которое после Москвы с её сумасшедшей энергетикой показалось оазисом красоты и покоя: почти никого, кроме нас, тихо, цветы повсюду...

Хорошо помню и те дни, которые мы проводили у тебя на даче в Купавне — прогулки по лесу, разговоры с твоими мамой и бабушкой... Помню, как твой папа играл с маленьким Димой и день рождения Димы, когда мы с ним и твоей мамой поехали на концерт... При Горбачёве возникли возможности, которые раньше существовали только в нашей фантазии. Русские коллеги смогли поехать за границу. Мы с американскими коллегами придумывали совместные проекты...

— Ты крупнейший в мире исследователь творчества Андрея Битова. Как возник интерес к Битову?

— В 1980 году я хотела написать книгу о творчестве как основе культуры. На Западе зачастую начинали изучать писателей, интересоваться ими лишь в тот момент, когда они становились диссидентами. Я же мечтала найти интересного современного писателя — просто художника, не связанного с политикой. Расспрашивала кого только могла и, как правило, слышала в ответ: «Я предпочитаю классику». А дедушкина сестра сказала, что надо читать Андрея Битова. Она с детства дружила с женщиной, которую Битов называл «своим первым читателем» и которой, к слову, посвятил одно из своих произведений. Проза Андрея была прекрасна!

Конечно, очень хотелось с ним встретиться, однако я понимала, что для Битова это может быть опасным — уже был «Метрополь», «Пушкинский дом», запрет на издание. Стала расспрашивать всех, кому доверяла, как с ним мож-

но связаться. И вдруг в моём гостиничном номере Москве раздался звонок: «Это Андрей Битов. Я слышал, вы хотите со мной познакомиться». Он жил тогда в Переделкино и пригласил меня в гости, заехал на машине. Битову запретили издаваться, но оставили возможность три месяца жить в Доме творчества.

— Когда и как познакомились с Ясеном Засурским, с Галиной Белой?

— С Ясеном Николаевичем — в 1980 году в его кабинете на факультете журналистики; я тогда интересовалась документальной прозой. В том же году на День Благодарения американцев, которые находились в Москве по разным официальным культурным обменам между СССР и США, пригласили к себе в гости американские дипломаты — как мне кажется, на территорию американского посольства. В числе гостей оказался и учившийся по обмену в московской аспирантуре Рон Майер. Мы сидели и разговаривали, вдруг стук в дверь — и вошёл знаменитый режиссёр Театра на Таганке Юрий Любимов, которому все обрадовались, несмотря на то что, как оказалось, его приглашение было на тот же день, но месяцем раньше.

После этого Любимов передавал мне через администратора (точно не помню, театра или гостиницы «Академическая», где жили тогда западные исследователи, приезжавшие в Москву по обмену по линии Академии наук) приглашения в театр, куда иначе почти невозможно было попасть.

С текстами Галины Андреевны Белой я познакомилась ещё до нашей встречи. В её статьях утверждалась важность прежде всего эстетических категорий, что было редкостью. Мы встретились в ИМЛИ в сентябре 1980 года. Я спросила о «документальной прозе», и она порекомендовала Сергея Третьякова, Владимира Богомолова и Лидию Гинзбург. По-

советовала также почитать Гранта Матевосяна, Фёдора Абрамова, Виктора Астафьева, Василия Белова и других и дала много очень полезных советов. Сохранившиеся с той встречи конспекты я обнаружила среди своих записей за несколько месяцев до смерти Галины Андреевны, и мы с ней успели ещё раз на эту тему поговорить.

— Что происходило в американской славистике в годы перестройки?

— После начала горбачёвской гласности стали возможны не только поездки западных людей в Советский Союз, но и ответные визиты русских в США. Это было невероятно эмоциональное, живое, энергичное время, полное эйфории от происходящих перемен. Нам всем казалось просто чудом, что книги русских писателей и писателей-эмигрантов, долгое время находившиеся под запретом на их родине, начали печататься в Советском Союзе. Впервые многие русские получили возможность принимать участие в конференциях и читать лекции на Западе. Я так рада, что смогла пригласить Чудаковых, тебя, Наташу Иванову, Галину Белую и других прочесть лекции в Принстонском университете.

Мы с русскими коллегами подолгу гуляли по Нью-Йорку, посещали выставки и художественные музеи и без конца говорили: прежде всего о самом важном — о культуре, но также и о самых незначительных мелочах!

Было важно, что наши студенты, аспиранты и профессора имели возможность не только прочесть публикации, но и послушать «живых» русских учёных и авторов.

В середине 90-х Михаил Леонович Гаспаров получил фулбрайтовскую стипендию, чтобы провести академический год в Принстоне, работая в архиве Мандельштама, который находился в библиотеке университета. На протяжении этого года мы почти каждую неделю встречались часа

на два. Говорили о поэзии, прозе, его и моей жизни, о русской, советской, американской культуре. Эти разговоры продолжались в Москве и других местах. Однажды — у него дома, затем — на конференциях в Стэнфордском университете и Филадельфии; и бесчисленное множество раз — по электронной почте.

С сентября 1996-го по январь 1997-го, целый семестр, в Принстонском университете преподавал Андрей Битов: вёл семинар по Пушкину для аспирантов и семинар для студентов по русской литературе, включая Чехова, Венедикта Ерофеева и других. Наши начавшиеся тогда разговоры с Андреем продолжались потом на кухнях в Петербурге, Москве, Нью-Йорке и по телефону до самой его смерти в 2018-м.

Кроме того, в 1989 году Галина Андреевна Белая, исследователь русской литературы из Колумбийского университета Роберт Магуайер, декан факультета журналистики МГУ Ясен Николаевич Засурский, Эмори Эллиот, в то время профессор славистики Принстонского университета, и я решили организовать две конференции — одну в Москве, другую в США, в которых приняли бы участие десять исследователей современной русской и десять исследователей современной американской литературы. Ясен Николаевич и Галина Андреевна выбирали русских участников, а Боб Магуайер, Эмори и я — американских.

— Если не ошибаюсь, это был один из самых первых совместных проектов по изучению литературы? Расскажи, как он развивался.

— В декабре 1989 года мы, организаторы конференции, встретились в Вашингтоне с Ричардом Роусоном (впоследствии исполнительным директором издательства Дьюкского университета) и представили доклады на сек-

ции современной русской литературе в рамках ежегодной конференции Ассоциации современных языков.

Я помню наш обед в вашингтонском отеле и как сидевший за соседним столом Джордж Макговерн — бывший кандидат президентской гонки от демократической партии (он в 1972 году проиграл идущему на второй срок Ричарду Никсону), бывший сенатор и одновременно бывший профессор русской истории — подошёл и пожелал удачи нашему впечатляющему советско-американскому культурному проекту.

После конференции Галина Андреевна приехала ко мне домой в Принстон праздновать Новый год. Мы сидела за столом, «на кухне», ели фрукты, пили чай и говорили обо всём на свете: о жизни, о моём бойфренде и её семье, о том, где ей лучше купить отрез для юбки, и том, какая одежда мне идёт и какая нет. Ну и конечно же, о литературе, Советском Союзе и Соединённых Штатах, об их прошлом, настоящем и будущем, о будущем изучения русской литературы в двух странах и в мире. Планировали и будущие конференции — в Москве, на факультете журналистики МГУ, в декабре 1990 года и в Дареме, Северная Каролина, в Национальном центре гуманитарных наук, в мае 1991-го.

— В проекте участвовали, если не ошибаюсь, Давид Бетеа, Александр Жолковский, Майя Коренева, самыми молодыми были мы с Еленой Скарлыгиной. Наше путешествие началось в Вашингтоне, откуда мы отправились на микроавтобусе на юг...

— Тогда мы проехали по восточному берегу от Вашингтона до Северной Каролины и Нью-Йорка, разговаривая о литературе и всякой всячине, время от времени выглядывая в окно, порой распевая русские песни. Однажды обедали жарким днём в южном городке, где никогда не видели приезжих из России и все хотели на них по-

смотреть. В Нью-Йорке мы провели вечер в элегантном ресторане «Русский самовар»; фонд Гилмана, который был одним из спонсоров конференции, пригласил нас на балет в Линкольн-центр. Тогда же русские участники проекта посетили Бродского у него дома.

— Нашу встречу с Бродским организовала переводчица и критик искусства Джейми Гамбрелл, был с нами и тогдашний секретарь Бродского Саша Сумеркин. Ни Джейми, ни Саши уже нет... Это было удивительно: Бродский с утра поил нас шампанским и не верил, что его напечатают в «Огоньке». Я попросила его передать со мной в редакцию новую поэму «Виртумн», и она вышла буквально через две недели...

— Кстати, о Саше Сумеркине: мы с ним познакомились ещё за несколько лет до того, как он эмигрировал в Америку, в Москве. Там у нас были общие друзья Эдит и Тимур. Я помню, как в Москве Саша любил заходить в магазины, чтобы купить пластинки классической музыки. В Нью-Йорке он работал в издательстве Russica Publishing House и в магазине, где продавались книги на русском языке. Саша редактировал, сам писал, переводил. Он был очень милым человеком.

Ещё о Саше. В Москве, до эмиграции, он в кинотеатрах синхронно переводил иностранные фильмы. Синхронный перевод с русского на английский и с английского на русский он обеспечил и на нашей конференции в Северной Каролине, так что участники, и русские, и американцы, смогли прослушать абсолютно все доклады и все обсуждения после выступлений.

А вот ещё один эпизод, связанный с Галиной Белой. В 1992 году после учёного совета в РГУ, где Галина Андреевна создала историко-филологический факультет, мы все, участники из многих стран, пришли к ней домой и го-

ворили о будущем литературы и наших стран. Галина Андреевна умела создать удивительную атмосферу, дружескую и творческую, объединяющую многих людей разного возраста и разных культур.

В самый нужный момент у неё всегда находились слова поддержки: однажды в очень трудную для меня минуту она сумела внушить мне уверенность в себе, хотя сама была уже тяжело больна, страдала от онкологии. Человеческие связи, завязавшиеся благодаря ей, продолжают до сих пор.

Наша последняя встреча произошла в апреле 2003 года. Белая делала доклад на конференции о современной русской культуре, которую её коллега и подруга профессор Рита Липсон организовала в Йельском университете. Галина Андреевна была уже очень слаба, однако энергично комментировала доклады и активнейшим образом участвовала в дискуссиях...

Все мои поездки в Россию дали и дают много материала для научных книг и статей, а кроме того, помогают мне, иностранке, всё лучше и лучше понимать многое о России, что недоступно только по книгам и журналам. Наши контакты с русскими коллегами и друзьями позволяют каждому глубже понимать окружающий мир и жизнь, не только культуру, но и повседневность. (Хотя, добавлю, в целом в современных реалиях делать это становится всё труднее.) Мы все вместе непрерывно создаём невидимую глазу, но прочнейшую и очень важную «паутину» человеческих связей. Даже когда просто сидим на кухне и пьём чай...

Беседовала Надежда Ажгихина

«У НАС ДОМА ГОВОРИЛИ ПО-РУССКИ»

Беседа с Линн Виссон, переводчицей, автором книг о России и русской культуре

— Когда и почему вы заинтересовались русской культурой, русским языком? Как это произошло?

— У нас дома говорили по-русски, потому что папа был из Киева, а мама — из Петербурга. Друзья, родные — тоже все из России, из первой волны эмиграции. Большинство из них приехали в Америку из Франции во время войны, как и мои родители. Это произошло в 1941 году, и к тому моменту папины братья уже перебрались в Америку, что, конечно, помогло нам здесь обосноваться. Жили в Нью-Йорке. Приблизительно через год папу пригласили работать в галерею Вильденштейна, и началась новая жизнь, жизнь в мире искусства. А мама устроилась во французское посольство, где проработала почти 20 лет.

Наши знакомые из первой волны эмиграции, до Америки пожившие во Франции и Германии, были очень интересной публикой. А вот среди эмигрантов из Югославия я знала не многих.

— Предполагали, что будете заниматься Россией?

— Поначалу я думала изучать английскую литературу. Однако в Гарварде, где я училась, проявляли интерес к тем, у кого уже был, как у меня, русский язык. На кафедре славистики в Гарварде, где я почувствовала себя вполне

комфортно, подход тогда был довольно старомодный. Главные лингвисты — Тарановский из Белграда и фактически двуязычный Сычкарев, который воспитывался в Германии. Основными предметами у нас были история и литература, и я быстро сообразила, что понять русскую литературу без знания истории невозможно. Написала свою первую работу в университете о взаимоотношениях Америки и России в XVIII веке. А потом переключилась на Есенина. О нём мои магистерская и докторская. О Есенине я даже написала книгу.

Потом преподавала русский язык и литературу в Колумбийском университете, но меня всегда привлекал синхронный перевод. Это началось ещё в студенчестве. Однажды на кафедре спросили, не могла бы я поработать с группой советских туристов. Конечно, я согласилась! 1962 год. Тогда приезжали первые группы так называемых советских туристов, хотя не все, конечно, являлись туристами. Но в любом случае это было безумно интересно — другой мир!

Подготовила туристическую поездку американская организация — не знаю, существует ли она сегодня. Та советская группа человек из 20 выпустила впоследствии книгу (у меня есть фотокопия) под названием «Страна, где живут беспокойно» — пропагандистскую невероятно, но интересную!

Эти люди оказались в США, когда убили Кеннеди, я была с ними и никогда этого не забуду. Сразу же после покушения мои туристы позвонили в Москву: как поступить? Им ответили: делайте, как скажут американцы. Американцы сказали: если хотите, оставайтесь. Они и остались.

— Советские туристы говорили не так, как русские эмигранты?

— Совершенно не так — даже фразы строили по-иному. Хотя я, разумеется, всё понимала, однако эти люди, которых набирали из разных городов, разных республик через партийные организации и комсомол, вообще словно прилетели с другой планеты.

Я пригласила их домой, на обед к моим родителям. Мама сказала: очень хорошо, только готовить будешь сама. (Она ненавидела заниматься хозяйством: у меня в детстве была гувернантка, и ещё во Франции семья держала прислугу, повара, уборщицу.)

Итак, они пришли! И гостям, и моим родителям было безумно интересно. Но смотрели они друг на друга примерно так, как смотрят на зверей в зоопарке. Для советских самым интересным в доме оказались книги и картины — у нас было много эмигрантских изданий, недоступных в СССР. Кстати, представления, что такое русская эмиграция, у туристов тоже не было.

Надо отметить, что в детстве я видела в основном эмигрантов. Эти мамы и папы друзья в большинстве своём были евреями. Помню даже, мы однажды поехали в гости, и мама предупредила меня, что наши хозяева — не евреи, у детей будут крестики на шее. Я ничего не поняла, поскольку считала тогда, что вся Россия состоит из евреев. Мне объяснили, что это не так. Наши хозяева оказались милейшими людьми, но как же удивило меня, что их дети говорят исключительно по-русски — мне казалось нормальным, когда люди общаются на нескольких языках — русском, английском, французском...

— Что вы знали об СССР в детстве?

— Помню, родители рассказывали, что такое советская власть: в России диктатура, нет свободы, и главный злодей — Иосиф Виссарионович Сталин. Когда в 1953 году я прочитала в «Нью-Йорк таймс» о его смерти, то сказа-

ла папе: наконец-то в России всё будет хорошо, ведь главный злодей умер. А папа ответил: нет, не будет всё хорошо. Для меня, семилетней, явилось откровением, что в России, кроме Сталина, есть и другие плохие люди.

А вот ещё эпизод, связанный с Россией. У нас на кафедре в Гарварде учился болгарин, он одновременно был регентом хора в своей церкви. В университете он создал русский православный церковный хор: пели в нём все — американцы и эмигранты, евреи, католики и протестанты. Мы давали концерты, и я до сих пор очень хорошо помню литургию. Этот хор — одно из самых светлых воспоминаний, связанных с Гарвардом.

— Когда в первый раз попали в Советский Союз?

— В 1965-м, на втором курсе университета: я участвовала в программе по русскому языку, которую организовал Индианский университет. Программа предполагала изучение языка в течение пяти недель в Блумингтоне, а потом ещё пяти — в СССР. Организаторы не знали, как поступить со мной, ведь я говорила на русском свободно, и отправили в группу к аспирантам. Надо сказать, в программу записалось довольно много детей эмигрантов, особенно из Калифорнии, для которых это было единственной возможностью попасть в Россию. Среди них оказалось много власовцев, так что меня воспринимали как фрика, а я со своей стороны так же воспринимала их. Но было безумно интересно.

На кафедре в Блумингтоне преподавали в основном перемещённые лица, приехавшие в Америку к концу войны, настоящие профессионалы. Они быстро поняли, что мне не нужна разговорная практика. При этом, увы, я оказалась «безграмотной» — писать на русском не умела. Тогда сказали: обойдётся без разговорной практики, но через день будешь писать от руки. Так я училась писать на русском.

Ну а потом поехали в СССР. Кстати, в программе вместе со мной, правда, в другой группе, была Эллиен Чансез. Так и познакомились.

Родители, покинувшие Россию в 1917 году, страшно нервничали относительно моей поездки в СССР, но всё же отпустили. Мы ехали через Выборг в Ленинград (до этого день провели в Стокгольме), в Ленинграде заночевали и отправились в Москву. Потом побывали в Киеве, Ташкенте, на Домбае...

Эмоции захлёстывали: я в России, о которой столько слышала от родителей! То и дело возникали ассоциации с их рассказами — казалось, кое-что в этой стране я уже хорошо знаю, но многое в то же время было совсем непривычным. Возникало противоречивое чувство невероятной близости и параллельно отдалённости: эта страна была моя и не моя одновременно. Впервые я на протяжении целого дня говорила только по-русски, и на улицах меня принимали не за иностранку, а за туристку из Прибалтики.

В Индиане нас здорово пугали возможными провокациями со стороны советской власти, но мы с подобным не столкнулись.

— Удавалось ли пообщаться с советскими людьми?

— В основном со студентами. Конечно, нас предупредили, что большинство из тех, с кем власти в СССР позволят нам встретиться, — агенты. Но мы-то понимали, что по улицам сплошь агенты гулять не могут, и не боялись завязывать разговоры. На Домбае у меня случилось даже нечто похожее на роман, платонический, конечно.

Бытовые условия были суровыми, например, мы впервые столкнулись с тем, что газеты используются в качестве туалетной бумаги. Но даже это казалось интересным.

— Когда вы оказались в Ленинграде, не хотелось взглянуть на дом, где родители жили до эмиграции?

— Мама назвала свой старый адрес: Загородный проспект, 45. Я специально, чтобы не выглядеть иностранкой, взяла с собой в поездку очень старый дождевик, старалась быть осторожной. Нашла улицу, дом, вошла в подъезд. Какая-то очень неприятная женщина заорала: «Что вам нужно?» Я сказала, мол, ничего, только информация, и услышала в ответ: «Информация за углом, в справочном бюро». Вышла, подождала немного и вернулась в дом, где сидела старушка-консьержка, смотревшая на меня с интересом, видимо, заметив что-то необычное:

— Девушка, вам помочь?

— Вы не помните, в 1917-м году на четвёртом этаже жила семья, родители и две маленькие девочки?..

Она на меня смотрела без всякого удивления, будто я задала самый обычный вопрос:

— Конечно, я их помню, Левинсонов, но вы, милая, опоздали. Они давным-давно уехали.

Эти её слова остались со мной на всю жизнь.

— Когда случилась ваша вторая поездка в СССР?

— Вскоре после первой, поскольку у меня была одна мечта — вернуться в Россию. Родители даже испугались, как бы их дочь не стала коммунисткой. Поехала я на следующий год с группой квакеров. Мы жили в кемпингах по всей России — в Смоленске, Минске, в Репино под Ленинградом, в Бутово под Москвой... В Киеве, правда, останавливались в гостинице.

В основном поездки в СССР организовывала группа университетов — Огайо, Индиана и другие. Это обычно бывали летние программы на четыре-пять недель. Славянские кафедры, особенно Индианского университета, разработали очень хорошие программы. Важно, что там

преподавали именно современный русский язык. Советские студенты и аспиранты в те годы в Америку не приезжали, так что дети эмигрантов, мои сверстники, говорили на языке образца 1917 года, не знали многих слов и оборотов речи, с которыми приходилось сталкиваться в Советском Союзе. Например, что такое гардероб?

После окончания бакалавриата в Гарварде я поступила в магистратуру Колумбийского университета, где впоследствии работала над диссертацией об образах женщин и природы и о религии у Есенина. Снова приехала в Россию уже аспиранткой — в течение года, в 1970–1971-м, стажировалась на кафедре советской литературы на филологическом факультете МГУ, где был курс по Есенину.

— Что запомнилось из того времени наиболее ярко?

— В общежитии МГУ аспиранты из капиталистических стран жили в зоне В для иностранцев — она была предназначена для «врагов», а зона Б — для дружественных стран.

Нас в IREX (организация по академическим обменам, которая занималась в то время и аспирантскими программами) предупреждали, что вести себя надо очень осторожно. Мы знали, что нас прослушивают — микрофоны находились на потолке. Поэтому, когда в общежитии перестал работать туалет, к потолку я и обратилась: раз коммунизм так прекрасен и вы всё умеете, почините туалет — в Америке его давно починили бы.

Семинар по Есенину был неплохой. И хотя к Есенину в СССР относились в целом настороженно, как к «попутчику», однако на его родину, в Константиново, меня отпустили! Я оказалась там первой американкой, познакомилась с сёстрами поэта Екатериной и Александрой, и это было незабываемо! Познакомил нас профессор кафедры истории Виталий Александрович Вдовин, милейший человек, сам писавший о Есенине: уговорил сестёр меня принять —

они поначалу не хотели, опасались. Мы быстро нашли общий язык. Говоря о Есенине, Екатерина и Александра никогда не называли его братом — всегда говорили «Сергей Александрович». Например о его смерти: «Когда Сергей Александрович от нас ушёл...» У обеих глаза были, как у него, — сине-голубые, как васильки. Потом я не раз бывала у Екатерины в её московской квартире.

— С диссидентами встречались?

— Нет, с диссидентами общаться опасались, ведь нас предостерегали — могут выслать и больше не дать визу в СССР. В результате можно было перекрыть доступ к русским источникам и поездкам не только для себя, но и для коллег, что было бы по отношению к ним несправедливо.

— С Борисом Работом, вашим мужем и впоследствии соавтором замечательной книги о российско-американских браках, познакомились в России?

— Нет, в Америке, когда он в 1968 году по линии IREX приехал в качестве помощника Алексея Матвеевича Румянцева, тогда члена ЦК КПСС. В делегации был также Геннадий Васильевич Осипов, председатель советской социологической ассоциации, и мой бывший муж, социолог, попросил меня помочь с переводом. Я писала тогда диссертацию, располагала свободным временем и согласилась. С Осиповым, Румянцевым и Борисом мы провели вместе две недели. Но тогда между мной и Борисом ничего не было...

С тех пор IREX стал приглашать советских учёных, возникли первые дискуссии, начался обмен книгами по социологии, в СССР в те годы полулегальной. Я тогда познакомилась с Игорем Коном (он оказался прекрасным человеком, бывал у нас дома), с Ядовым, Шубкиным; через мужа всех их потом хорошо знала.

— Что являлось самым сложным на человеческом уровне? Что мешало друг друга понять? Америку ведь советские люди представляли по картинке из одноимённого журнала. Хотя была, конечно, ещё литература, Воннегут например.

— Конечно, между советскими людьми и американцами порой возникали моменты непонимания, рождавшие напряжённость...

Что касается Воннегута, его переводила Рита Яковлевна Райт-Ковалёва. Мы были хорошо знакомы ещё с 1970-х. Я много раз бывала у неё дома, и мы говорили о Воннегутае, который к ней приезжал. А он перед своими поездками в Россию часто советовался со мной, как вести себя.

Рита Яковлевна никогда не жила ни в Англии, ни в Америке, но её английский был безупречен! Однажды мы полтора часа спорили о том, как лучше переводить заголовок книги Селлинджера — «Завтрак для чемпионов» или «Завтрак чемпионов». Кажется, это единственный раз, когда мы беседовали на повышенных тонах. Настоящая интеллигентка, удивительная женщина!

— Когда напряжённость между русскими и американцами стала исчезать?

— В 1980-е. Помню, Борис и его друзья беспрестанно употребляли слово «доверие»: человек, которому я доверяю или не доверяю, — по-английски так не скажешь. Но это было самым важным — восстановить доверие во всём.

— Как вы встретили перестройку?

— Конечно, очень радовалась. Возникал только вопрос, насколько продолжительной перестройка окажется. Борис опасался, что это ненадолго. Он никогда не возвра-

щался в Россию после того, как эмигрировал в 1976-м (тогда стали выпускать евреев). Не захотел навестить родину даже в перестройку, когда это стало возможным. Я же ездила в Россию часто, виделась с его родственниками, двоюродными братьями.

Борис был из так называемых шестидесятников и знал почти всех советников Горбачёва, главной ошибкой которого считал то, что он хотел сделать слишком многое слишком быстро. Борис был уверен, что у Горбачёва нет плана и что сначала надо кормить людей, а потом говорить о литературе и демократии.

— Ваша книга о российско-американских браках стала прорывом, открыла совершенно новую страницу в диалоге двух стран. В книге обозначены также различия двух культур в восприятии мира и отношений. Первое, что вспоминается: ситуация, когда русская жена хочет положить еду на тарелку мужу-американцу, а он обижается: «Я не ребёнок».

— Борис, безусловно, очень помогал мне с книгой, мы многое обсуждали. Важно было объяснить детали, чтобы люди, жившие со столь разными системами взглядов, привыкали друг к другу. Например, в Америке считается очень важной честность в отношениях и принято обо всём партнёру рассказывать. В России в этом плане другая культура.

— Стали ли русские и американцы за прошедшие 30 лет лучше понимать друг друга?

— Обобщать трудно. Больше знать друг о друге — это точно. Больше знакомств, больше поездок — и нет уже ощущения экзотики. Прежде, когда русские интеллектуалы приезжали в Америку, это становилось событием! Се-

годня — обычное дело. За три десятилетия весь мир изменился.

— Вы были переводчиком Ельцина во время его самой первой поездки в США. Как это происходило?

— Меня пригласили переводить Ельцина в Нью-Йорке. Он ездил потом в Бостон и Вашингтон, и там были свои переводчики. Организовал и профинансировал поездку Институт Эсален, очень известная в то время организация, занимавшаяся исследованием восточных практик, экстрасенсами и проведшая два телемоста с Россией. Потом эстафету принял Фил Донахью — в его телемостах я работала и писала об этом.

Борис Николаевич показался мне человеком хорошим, с добрыми намерениями. Но он абсолютно ничего не знал об Америке, хотя думал, что знает всё, и при этом всем интересовался. Для него это было немножко как полёт на Луну. Люди из Института Эсален, кстати, тоже не знали, что такое советская система и кто такой Ельцин. Он тогда уже не был членом ЦК — работал в Госстрое, хотя вёл себя, как будто всё ещё член ЦК.

В первый день, когда мы катались по Нью-Йорку на машине, большой и удобной, он спросил:

— Лена, это «кадиллак»?

— Нет, Борис Николаевич.

— А почему не «кадиллак»?

— Это «форд», тоже хорошая машина.

— Ну «форд» — это ничего.

Ельцин непрерывно задавал вопросы, пытался разобраться, что к чему. При этом ни слова не знал на английском. Вообще его невежество в отношении Америки было потрясающим. Например, на приёме у одного очень богатого человека на 5-й авеню он увидел женщину, чёрную, — она руководила какой-то очень важной организацией. Бо-

рис Николаевич заинтересовался: «А что это за баба? Давай пойдём познакомимся».

Подожли. Он говорит: «Мне очень приятно. А как к вам здесь относятся?» Она, само собой, не поняла, что он имел в виду.

Он считал, что всех чёрных в Америке угнетают. Очень удивился, узнав, что это не так. Как-то мы оказались в доме, где работала чёрная прислуга, очень хорошо одетая женщина. Ельцин говорит: спроси её, бьют ли её каждый день.

— Нет, — отвечаю, — я не задам такого вопроса, она подумает, что я сумасшедшая.

— Ты уверена, что её не бьют каждый день?

— Да, Борис Николаевич.

Он, кажется, не поверил.

Ко мне он сразу стал обращаться на ты, относился иначе, чем ко всем прочим американцам: говорил, мол, Леночка, ты же из наших, ты нас понимаешь. А порой просил: скажи, что они, американцы, от меня хотят.

Ельцин был огромного роста — я за ним бегала, как пудель. Напоследок сказал: «Лена, я с вами не прощаюсь». И поцеловал крепко, в губы. Что делать? Я рассказала Борису. Он в ответ вздохнул: «У тебя не было выбора».

— Вы работали в ООН, переводили практически всех постсоветских лидеров. С Горбачёвым приходилось работать?

— Недолго. Когда его переводчик Павел Палашенко оказался занят (Паша, с которым мы были в хороших отношениях, попросил меня его заменить).

Горбачёв мне понравился: был очень вежлив, отвечая на вопросы; не стеснялся иногда сказать, что на какой-то вопрос ответить не может, поскольку недостаточно компетентен.

тен. Единственная проблема — его южный акцент. Когда он нервничал или торопился, переводить становилось трудно.

Он приезжал с Раисой Максимовной — она оказалась очаровательной: холодноватая, с манерами леди и одета безупречно. В сравнении с жёнами других советских лидеров это было нечто новое и поражало американцев.

— Как менялась стилистика разговора лидеров?

— Горбачёв говорил советскими государственными шаблонами. С этой точки зрения переводить его было гораздо легче, чем многих других: он только начинал фразу, а я уже знала её окончание.

Позднее мне довелось работать на грузино-абхазских переговорах, основными участниками которых были Шеварднадзе и Ардзинба. Шеварднадзе говорил с сильным акцентом и, кроме того, часто сминал конец фразы. Выручали его помощники. Один из них предложил: «Лена, когда он быстро говорит, смотрите на меня».

А вот Ардзинба говорил по-русски прекрасно, однако очень быстро, так что синхронный перевод порой превращался в гонку. Но спустя некоторое время я начала угадывать, что он готовится сказать дальше. Однажды увлеклась и закончила фразу раньше, чем он. Был общий хохот. И он тоже рассмеялся.

— Когда начались контакты с переводчиками из России?

— В 1990-х. Когда я поступила на работу в ООН 1982-м, с переводчиками из СССР мы практически не общались. Они даже не здоровались. А после перестройки «всё смешалось в доме Облонских»: русские коллеги, особенно из отдела письменных переводчиков, начали общаться, шутили, приходили к нам домой...

— С Лавровым работали в ООН?

— Да, и это оказалось очень интересно. Его выступления были всегда хорошо продуманными, организованными, но в весьма стремительном темпе. Так что мне доставалось. Лавров вслушивался не просто в каждое слово — в каждый слог перевода. Он хорошо знал английский (хотя не настолько хорошо, как ему казалось) и имел обыкновение переводчика поправлять, что, конечно, слегка коробило.

Меня же, случалось, он на заседаниях даже хвалил. Например, когда его западные коллеги говорили: «Если я правильно понял перевод...» (а такое бывало), Лавров переходил на английский: «У меня лучший переводчик в этом здании. Я готов повторить». Это было очень мило.

У нас сложились хорошие отношения, хотя человек он был непростой — взять хотя бы его крайнюю строгость по отношению к переводчикам — и при этом очень умный: когда возникали сложные вопросы, всегда находил выход, умел разрубать гордые узлы. Когда умер Борис, Лавров, зная, конечно, что мой муж советский эмигрант, подошёл и выразил соболезнования. Для российского посла такое было необычно, и я это очень оценила.

— В книге вы пишете, что прежде советские дипломаты часто использовали образы из литературы, непонятные коллегам из других стран. У Лаврова такое бывало?

— И у него тоже. Иногда очень трудно оказывалось найти аналог, объяснить, что имеется в виду.

— Как с манкуртами Айтматова?

— О, это было ужасно. Я, конечно, сказала, что это из романа киргизского писателя Айтматова... И в последнюю секунду нашлась: зомби! Порой такое случается. Лавров улыбнулся — ему понравилось.

— Ваша книга о русско-американских браках вышла в России. За ней последовала почти дюжина других...

— Книга тогда вызвала большой интерес, но теперь устарела, конечно. Её опубликовало издательство «Валент», и впоследствии я в России всё издавала через них: две кулинарные книжки, русская и узбекская кухня, и несколько книг по переводу.

Добавлю, что моя книга о политическом переводе сегодня тоже устарела, да и язык стал намного грубее. Часто, читая нынешние газеты и журналы, не понимаю некоторые слова. И даже пасынок, сын Бориса, к которому обращаюсь в таких случаях за разъяснениями, не всегда может мне помочь

— Что, на ваш взгляд, было самым важным для развития взаимопонимания между Россией и Америкой за последние десятилетия? Что не удалось?

— Прежде всего, то, о чем мы с вами говорили, имело значение в основном для интеллигенции, достаточно небольшой группы, и не касалось массы народа. Многие, помню, говорили: как только закончится советская власть, будет новая литература и так далее. Где она?

По иронии судьбы, в те годы, когда отношения между государствами были гораздо сложнее, отношения между людьми и исследовательскими институтами складывались более интенсивные и более интересные. Безусловно, в мире искусства контакты развиваются, открываются выставки, идёт обмен между художниками. И музыканты давно уже работают вместе.

Беседовала Надежда Ажгихина

«ГЛАСНОСТЬ В ДВУХ КУЛЬТУРАХ»

**Говорят участницы первой встречи писательниц
России и Америки**

Подписано в печать 02.10.2023

Формат 60x90/16. Объем 8,5 уч. изд. л. Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии

ООО «СамПолиграфист»



«Новые амазонки» в Нью-Йорке. 1991.

Слева направо: Зоя Богуславская, Валерия Нарбикова, Светлана Василенко, Елена Гоцило, Лариса Ванеева, Елена Трубилова.



Надежда Ажгихина



Наталья Иванова



Кэрол Юланд



Елена Гоцило



Нэнси Конди



Марина Тёмкина



Светлана Василенко



Линн Виссон



Марина Ледковская и Елена Трофимова



Кэтрин Таймер-Непомнящая и Кэрол Юланд



Наталья Иванова и Надежда Ажгихина на юбилее журнала "Огонёк"

Элен Чансез (слева) и Кэтрин Таймер-Непомнящая на Конгрессе соотечественников

